



ЮРИЙ

БОНДАРЕВ



ИГРА



ИСКУШЕНИЕ



Юрий Бондарев

Искушение

«ИТРК»

1990

Бондарев Ю. В.

Искушение / Ю. В. Бондарев — «ИТРК», 1990

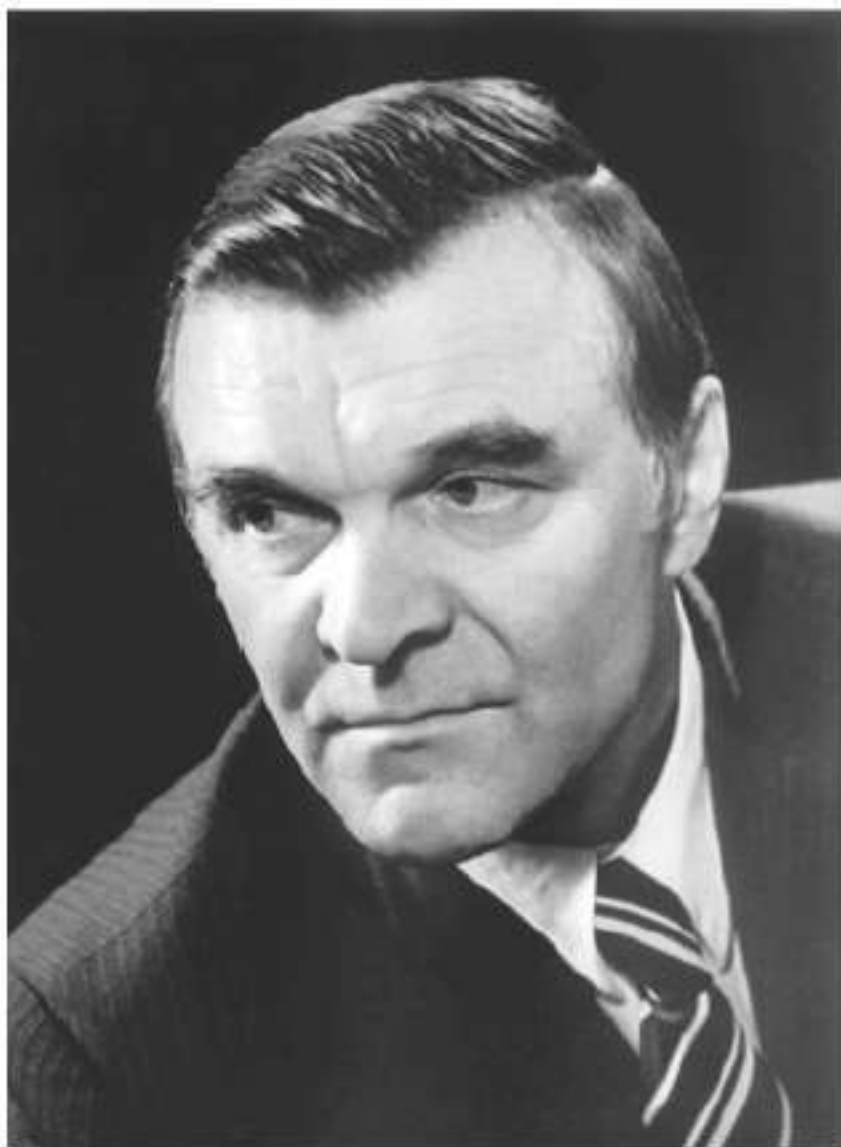
В романе «Искушение» известного писателя Ю. В. Бондарева (1924 г.), Героя Социалистического Труда, Лауреата Ленинской и Государственных премий автор обращается к теме русской интеллигенции, ее драматического существования в современном мире, крутых перемен в обществе за последние десятилетия, которые повлекли пересмотр нравственных достоинств человека, раскрывающихся в сложных моральных конфликтах. В центре внимания писателя – борьба людей, которым дорого будущее России, будущее народа, с теми, кто предал его интересы ради собственной корысти, карьеры и личного благополучия.

© Бондарев Ю. В., 1990

© ИТРК, 1990

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	9
Глава 3	17
Глава 4	24
Глава 5	31
Глава 6	35
Глава 7	44
Глава 8	47
Глава 9	52
Конец ознакомительного фрагмента.	53



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ю. В. Бондарев'.

Юрий Бондарев
Искушение
Роман

Глава 1

Последние минуты на кладбище были до крайности тяжелы затянувшейся панихидой, траурными речами, звуками оркестра, парной духотой перед дождем, скопившейся в липах и между могилами, по которым темно ходили грозовые тени от заслонявших солнце туч. В душном воздухе окатывало запахом обильно наложенных в гроб цветов, сытым запахом увядания,

смешанным с земляной сыростью свежевырытой могилы вблизи дорогих памятников этого ухоженного города мертвых, забытых и полузабытых знаменитостей, города покоя с опрятными аллеями, со стерильной чистотой дорожек, вроде бы предназначенных для бесшумных детских колясок, для безмолвного гуляния.

И невыносимо длинны и мучительны были речи сотрудников института и коллег покойного, их неумеренные в горестном упоении слова («талантливый», «выдающийся академик», «прославленный Федор Алексеевич Григорьев»), и Дроздову неприятно было видеть, как дождь отвесно стал бить по сединам, по лысынам, по листкам машинописного текста, размывая чернильную правку, а ораторы дрожащими пальцами разглаживали намокшие листки заготовленных речей, и голоса вибрировали в безысходном сладострастии беды, постигшей современную науку. Дроздов томился в отдельной толпе сослуживцев, ученых и близких семье Григорьева, окружавших в нерушимом объединении микрофон, и как бы не узнавал многих, кто стоял рядом и кто подходил с листком бумаги к изголовью гроба. Он не узнавал доктора наук Чернышова, толстенького, неуклонно приветливого, розовое лицо которого среди других лиц выделялось здоровьем, даже когда испуганно застывало оно в недоуменном страдании при взгляде на Нонну Кирилловну, точно в эти минуты он боялся расплатиться за свою удачливую судьбу, за прошлую зависимость от ушедшего своего учителя, долгие годы безоговорочно преданный ему ученик. Поминутно покорно склоняясь, готовый упасть на колени, разрыдаться, он в порыве бессильного утешения целовал ей руку, после чего долго перхал, хлюпал, втягивая воздух широким носом. И особо неловко было видеть, как он обреченным жестом обесиленного горем человека показывал на сердце, без слов умоляя не давать ему прощального слова над гробом, так как не выдержит, не вынесет перенапряжения, при этом он робко съезживался, мелькая лоящим взглядом в направлении вице-президента Академии наук Козина, давнего оппонента и соперника Григорьева, костистого рослого старика, желтощекого, с узкой бородкой. В его антрацитно-черных глазах время от времени отражался притушенный веками высокомерный блеск в ответ на это искательное внимание Чернышова, тогда академик снисходительно приподымал бровь и снова устремлял строгое внимание на покойного.

Быть может, от усталости и долгой преддождевой духоты, траурных речей, гробового запаха цветов в неподвижном воздухе это замеченное (или воображаемое им) неуловимое заискивающее общение Чернышова с Козиным, это скользкое соприкосновение зрачками представилось вдруг Дроздову таким диким, противоестественным, что он придвинулся к Чернышову, сказал шепотом, едва сдерживаясь: «Ведите себя хотя бы пристойно, дьявол вас возьми, не будьте смешны в неподобающие моменты». И Чернышов, дрогнув толстыми щеками, беззвучно заплакал, замирая потупленным взором: «Оставьте меня в покое».

Противоестественным было и то, что из-за затянувшихся речей стал собираться со стороны незнакомый народ, чужая распаренная толпа, дети и тучные женщины с обвисшими сумками в руках; не без завистливого любопытства они оглядывали дорогой гроб, пышные венки, гирлянды, серебряные надписи разных скорбящих организаций – и Дроздов внезапно вспомнил похороны своей жены, ее неузнаваемое тонкое, чудилось, очень юное, с бледным румянцем лицо, и, как во сне, за спиной чей-то доползший до слуха шепот, в котором он уловил одну лишь фразу: «Такие женщины бывают только любовницами». Вспомнил, как с затуманенной головой он повернулся, будто перед падением в обрыв, четко сознавая, что ударит сейчас этого человека, прошептавшего за спиной неуместное скользкое слово, что здесь, на кладбище, произойдет неслыханный скандал. Но, повернувшись, увидел фальшиво поникшего Чернышова, его потупленные глаза и рядом – светлые бесстрашные глаза своего друга Тарутина, вызывающие его на самое отчаянное, и все же сдержал себя, мысленно оставляя на будущее право мужского разговора.

И тогда на похоронах Юлии, и теперь на похоронах бывшего тестя он ждал облегчения. Ему хотелось освободиться от тесноты в горле, от этих бессмысленных речей, от скопившейся

вокруг гроба праздной толпы с ее извечно пещерным интересом к чужой смерти, от притворного потрясения нелюбимого им Чернышова, украдкой косящего влажными глазами в направлении крючковой бородки академика Козина.

Главное было в ином. У него уже не было сил долго глядеть в сторону гроба, где еле видимое из навала цветов белым гипсом недвижно проступало пугающее властными строгими чертами и надменным величием лицо покойного, и Дроздову казалось, что это лежит не отец Юлии, не академик Федор Алексеевич Григорьев, а кто-то другой, тоже мучительно знакомый, чье имя ускользающе-смутно вертелось в голове, но не мог вспомнить, кто это. И постепенно нарастало чувство, что произошла страшная и коварная подмена, что лежащему в гробу дано лицо человека, не умершего, а еще живущего на земле.

«Да что за чертовщина! Мне кажется – я вижу себя... Какая-то галлюцинация! Не может этого быть, – холодком проходила и вздрагивала в нем мысль. – Я возвращаюсь назад, к похоронам Юлии? Да это какое-то ужасающее стечение обстоятельств – хоронить разведенную жену, потом ее отца. Да, безумие, что-то неестественное. Что ж, может быть, это и есть наказание?»

И в этот миг ему почему-то захотелось увидеть Валерию. Он взглядом нашел ее в толпе возле гроба – несоответственно кокетливая косынка черного цвета, по-деревенски завязанная снизу подбородка, и модно, и траурно затеняла молодое наклоненное лицо, по-южному загорелое, напоминавшее о вчерашнем солнце, о вчерашнем море – но в ее лице, в этой косынке, в ее тонкой сильной фигуре было печальное смирение. Она медленно подняла голову, ощутив его внимание, ее глаза, ответно сказавшие что-то ему, были туманны от невылитых слез. И он подумал с завистью к ее, должно быть, однозначному состоянию: «Она не чувствует того, что чувствую я. Она как будто о чем-то спрашивает и успокаивает меня», – и ответил ей почти незаметным движением головы, что могло означать: «Я вас понимаю. Но здесь каждый – в своем».

Когда все было кончено и вместе с Нонной Кирилловной он сел в машину, опавшую изнутри после сытного запаха цветов синтетической духотой будничного мира, он не мог избавиться от сознания чего-то нелогичного, случившегося с ним на кладбище, чего-то незаслуженно обманного, неопределенного, а когда ехали по ливневой Москве, был рад этой августовской грозе, обвальному грохоту дождя по капоту, зигзагам потоков, скользящих по стеклам.

Нонна Кирилловна молчала в полумраке машины, он же трезво отдавал себе отчет в том, что в силу неразорванных им до конца условностей роль бывшего зятя ставила его в положение неестественное. Порой это было просто невыносимо. Никогда между ним и семьей Юлии не загорались и не привились истинно родственные отношения. Нонна Кирилловна, вдохнувшая клейкий воздух подмостков и славы, коротко испытанной ею в молодости и незабытой, обладая твердыми убеждениями, противилась их сближению. Она считала, что дочь, воспитанная ею в семейных традициях, если уж не пошла по ее стопам, то все же достойна более высокой партии в жизни, и не один год была оскорблена ее выбором жалкого «геолога», «инженеришки», ее неразборчивым вкусом. Довольно-таки молодой режиссер знаменитого Малого театра, обаятельный красавец, талант, два года ухаживал за Юлией, упоенный надеждой жениха, приходил в дом, неотразимый, искрящийся, как сама очаровательная его улыбка, как его приветственная фраза, произнесенная хорошо поставленным голосом: «Вы сегодня особенным образом прелестны, Юлечка, а вы просто чудесно выглядите, драгоценная Нонна Кирилловна!»

По рассказам Юлии, фраза эта беззастенчиво высмеивалась ею, с невинным видом заявлявшей матери, что льстивое приветствие, пожалуй, заимствовано из дореволюционной пьесы, где герой в клетчатых штанах и с тростью вальжно входит в купеческий дом, раскланивается с заспанной растопыркой-дочерью и дородной матерью-купчихой, симпатизирующей угодливому жениху. В тот еще безветренный период их любви Юлия была искренна с ним, он же иногда думал, что она и замуж-то вышла за него из сопротивления матери, наперекор ей и артистической самоуверенности жениха. Но много лет спустя все встало наперекор, как и смерть ее...

«Самое тяжкое – поминки, – думал с тоской Дроздов, чувствуя рядом каменную неподвижность Нонны Кирилловны, горчичный запах ее намочшего крепа. – Сначала поминальная, неумеренная хвала, сожаление, скорбь, потом возбуждение, кое-где даже несдержанный смех, потом вселенская глупость взвинченных разговоров, чья-то обида, чья-то злая память... Нет уж, на поминках я не буду, – решил он бесповоротно. – Провожу ее и уеду немедленно, что бы ни говорили обо мне, как бы ни судили!»

Глава 2

Молча Нонна Кирилловна провела его в кабинет по знакомому коридору большой квартиры, где незнакомые женщины с блюдами, обдавая запахом теплого мяса, сновали из кухни в столовую, вкрадчиво звенели там посудой, приготавливая стол для поминок. Но в кабинет, пасмурный от дождя, тихий от забитых книгами стеллажей, не проникало ни звука из коридора, не доходил сюда плотоядный запах вареного мяса.

Как только вошли в кабинет, она вдруг покачнулась, мученически исказила лицо и, сдавливая рыдания, уткнулась лбом в плечо Дроздова, беззащитно зашептала:

– Как тяжело, боже, как тяжело! Сначала дочь, потом муж... За что меня так покарал Бог?

...

Ее траурная накидка жестко корябала ему щеку, крупное тело вздрагивало, и он, неудобно обняв, успокаивающе гладил ее по спине, растерянный от искренности прорвавшегося горя, скрытого на кладбище за каменной непроницаемостью, я говорил с неловкостью:

– Я понимаю...

Нонна Кирилловна, пошатываясь, мелкими шагами отошла к письменному столу, сверх меры заваленному папками и письмами, словно тут в суматошном поиске выложили на свет все содержимое ящиков, и, вяло стянув черные перчатки, уронила их на папки. Села в кресло перед столом, жестом жалкого бессилия загородила плачущее лицо ладонями.

– Вы... не знаете всего, – проговорила она клокочущим голосом. – Я не могу вам передать, как все было ужасно, несправедливо, мерзко... Его просто убили...

– Успокойтесь, Нонна Кирилловна, – нахмурился Дроздов и заходил по толстому ковру, трясиной втягивающему ноги. – Я прошу вас...

Прижимая ладони к щекам, она повторила вскрикивающим шепотом:

– Все было отвратительно, бесчеловечно!.. Он умирал вот на этой тахте... Вы наш единственный родственник, и вы должны выяснить обстоятельства его убийства!.. И наказать их, наказать, хотя вы отошли от нашей семьи!

Вот в этом кабинете покойный работал, читал, писал, спал (тахта вместе с ночным столиком и огромной лампой стояла справа под стеллажами); здесь, в этой пропахшей сухой книжной пылью комнате, не так часто бывал Дроздов, даже в те годы, когда жизнь его и Юлии была во всех смыслах благополучной. Федор Алексеевич никого из знакомых и сослуживцев в это свое населенное книгами и рукописями прибежище не приглашал, воздерживался подпускать к стеллажам, запрещал усердно прибираться в кабинете, не любил оставлять дверь открытой, опасаясь утери важных бумаг, подчас секретных документов. Эту болезненную осторожность, близкую к страху, Дроздов объяснял себе политическими особенностями биографии тестя, связанными с теми годами, когда ему не разрешалось проживать в Москве.

– Почему вы сказали «его убили»? Как умер Федор Алексеевич? – спросил Дроздов с попыткой удержать равновесие в разговоре, начатом Нонной Кирилловной. – Только, ради бога, не считайте за мной обязанности родственника. Вы сами знаете, что это не так. Я был плохим родственником всегда...

Он умолк, не переступая границу дозволенного. Однако она вмиг поймала его интонацию и испуганно отдернула ладони от лица. Ее сразу запухшие от слез, когда-то гордо непреклонные глаза, фиолетовый ночной холод которых так пронзительно помнил Дроздов, смотрели обезоруженно, готовые в бессилии униженно обидеться – будто несгибаемый стержень, державший ее на похоронах, выдернули из нее.

– Вы и сейчас так говорите? – прошептала она задавленным голосом. – Вы... вы были в конфликте с Федором Алексеевичем, я знаю, я все знаю от Георгия Евгеньевича («Да, только

он был вхож сюда»). Но Федор Алексеевич ценил, уважал вас и перед смертью мне... и вам оставил... оставил. А я не могла выполнить его волю. Скажите, что мне делать? Что делать?...

Она, как слепая, притронулась к желтой папке, лежащей поверх других папок на столе, трясущимися пальцами развязала тесемки и протянула Дроздову на треть исписанный лист бумаги:

– Вы должны это прочитать... Здесь он и вам...

Он замедленно прочитал отчетливо написанный мелким бегущим почерком текст:

«Нонна, родная, со мной все происходит естественно. Жизненные силы израсходованы. Каждый вечер хочу заснуть и утром не проснуться. Надо уходить.

Там жду встречи с нашей незабвенной дочерью.

После моей смерти прошу меня отпеть в церкви Святая Троица, которую я тебе прошлым летом показывал, и похоронить рядом с Юлией на Кунцевском кладбище.

Письмо это только для тебя. Если найдешь нужным попросить содействия, обратись к Игорю Мстиславовичу или на худой случай – к Чернышову.

Конверт с надписью «лично Дроздову» в верхнем правом ящике отдай немедленно. Прощай. Федор».

– Так. Понимаю, – выговорил глухо Дроздов и повторил вслух поразившую его завещательную фразу: «Прошу меня отпеть в церкви... и похоронить рядом с Юлией...» – Нонна Кирилловна, – проговорил он, через силу смягчая упрек, – почему же вы не выполнили просьбу покойного? Как же так?

Не вытирая слез, текущих по еще не дряблым щекам, она в ужасе, будто горячим ветром опавшем ее, моргала веками, неопрятно черными от размытой краски и жалкими в этой неопрятности («Для чего, для чего она подкрашивала ресницы?»), а обескровленные до синевы губы ее дрожали.

– Георгий Евгеньевич... Я ему сообщила о письме... Он сказал: «Ни в коем случае. Что касается кладбища, то Академия наук позаботится сама. Место для академика Григорьева обеспечено».

– Чернышова могу понять, – сказал сухо Дроздов. – Вас – нет.

– Федя не был религиозен, но он верил, верил во что-то, – говорила с торопливым оправданием Нонна Кирилловна. – Он не посвящал, меня в свою веру. Только я обратила внимание вот на что. Вы посмотрите там, над тахтой, он повесил это год назад. Он часами тут простаивал...

Она вытерла слезы под веками и показала рукой на большую поставленную на стеллаж фотографию под стеклом. Там в траурных провалах галактик, в сиянии Млечного Пути горели дивными белыми кострами, алмазно пылали, расходились лучами, подобно щупальцам, неисчислимым созвездиям, выстроенным в геометрические фигуры, в таинственные треугольники, квадраты, зигзаги неистово яркого, густо заполненного звездами неба, непостижимого, сплошь живого, пугающего глубиной каких-то страшных внеземных закономерностей, неподвластных пониманию смертных. Тайна вечности дышала из черноты неизмеримой жутью гибельной бездны, вселенского бессмертия за пределами земного муравьиного ничтожества, существование которого или не замечено, или снисходительно разрешено этой наивысшей всепобеждающей силой.

«Как в детстве, небо всегда меня тянуло смертельной высотой. Перед этим колдовством можно стоять часами... А перед смертью молиться. В общем, я не знал Григорьева», – подумал Дроздов, испытывая щекочущий ледок в груди от неизъяснимо притягивающей власти звездного неба над тахтой.

Он молчал. Нонна Кирилловна всхлипывала, прикладывая платок к покрасневшему носу. Дождь перестал, в кабинет по-летнему тепло пробилась сквозь вершины лип за окном стрелы солнца, вспыхнули на обмытых стеклах, осветили зеленый ковер, нижние этажи стел-

лажей, янтарно засветившиеся тиснениями старых книг, к которым не раз любовно и небезнадежно прикасался Григорьев и которые он предал своей смертью, как негласно предали и самого покойного его близкие, не исполнив его воли ухода, и, может быть, предадут и еще: рано или поздно книги эти, возможно, попадут в чужие руки букиниста.

«Что это пришло мне в голову? Нелепость! – нахмурился Дроздов. – Неужели вся наша жизнь от рождения до смерти предательство? Старея, предаем молодость? Умирая, предаем жизнь? И я тоже предал себя, когда нарушил свое слово больше не бывать в этом доме после смерти Юлии».

– Вы мой единственный родственник («Вот эту фальшь уже нельзя вынести!»), и вы, именно вы, должны знать, как все было гадко, бесчеловечно...

Она осторожно высморкалась, глубоко дыша ртом.

– Я слушаю вас.

– Простите, я сейчас соберусь с силами. Вы уехали в отпуск... Ведь это было месяц назад, а мне кажется – тысячелетие прошло. Но как только вы уехали, буквально на завтра Федора Алексеевича вызвали в какие-то инстанции, и он вернулся оттуда сам не свой, как будто на двадцать лет постарел. Только на следующий день Георгий Евгеньевич Чернышов мне сказал, что Феде... предложили уйти из института... на вольные хлеба, как сейчас говорят, в связи с состоянием здоровья. Но ведь и после инфаркта у Феде была светлая голова, он был еще энергичен, он ездил за границу... Да, он проработал много лет... и вдруг в Академии и в Цека перестали с ним считаться, а в институте все сразу отвернулись, как будто он живой мертвец. Все, почти все, кому он помогал, кому квартиры доставал, кому столько сделал добра, отплатили ему жестокой неблагодарностью. За что? Неужели он это заслужил всей своей жизнью?

– Глупцы и ничтожества, – сказал Дроздов. – Заискивают и лебезят перед силой и добиывают слабого.

– Что?

– Благодарность беспамятна.

– Федя очень страдал, – продолжала Нонна Кирилловна. – Он ходил в институт каждый день, сидел в кабинете и ждал телефонных звонков. Он думал, что там, наверху, – она возвела влажные глаза к потолку, – опомнятся... что он, авторитетный ученый с мировым именем, кому-то нужен. И страшно, что никто не звонил, ни одна живая душа, и никто в его кабинет не заходил, даже секретарша... Эта... как ее... Лизочка... Любочка... Мне рассказывали, что она смеялась: «Он еще ждет, что я ему принесу чай с сухариками!» А Федя ей добился увеличения зарплаты, помог получить квартиру... И хоть бы кто руку протянул, посочувствовал. Теперь я знаю: это жестокость убила его. Он умер от тоски. За две недели он похудел неузнаваемо, стал как тростинка. Он сказал мне как-то: «Нонна, прости, я устал от борьбы с собой. Я надоел всем. Я зажился». Вы не можете представить, как странно он умер. Федя отказался от еды, от разговоров со мной, он все время молчал, лежал вот здесь, на тахте, лицом к стеллажам, а в пятницу утром не проснулся. Остановилось сердце. Просто он не захотел жить. Только умоляю вас, не надо об этом никому, это может повредить памяти Федора Алексеевича... Я вас умоляю!..

– Уже ничто ему не повредит.

Расстегнув пиджак (стало жарко), Дроздов ходил по кабинету от стеллажа к стеллажу, то и дело наталкиваясь взглядом на фотографию ночного неба, и на минуту приостановился возле тахты, не в силах оторваться от огнедышащих провалов галактики.

– Ну, а что Чернышов?

– Георгий Евгеньевич был во время болезни два раза. Больше его Федор Алексеевич не принимал.

– Почему?

– Федя за что-то рассерчал на него.

Дроздов вспомнил яблочно-круглые щеки Чернышова, раздвинутые виноватой полугримаской, направленной в сторону академика Козина, с надменной строгостью незамечающего ученика своего малолетнего оппонента, – и, вспомнив это, опять задержался перед фотографией звездного неба, глядя на пылающий в бездонности Млечный Путь.

«Проще всего в наше время совершаются предательства. Страшно и дико. В сущности, Юлия тоже предала меня. Нет, вечность не поможет нам сейчас», – со злой иронией над собой, без надежды на счастливое успокоение подумал он о возможной молитве перед этой колдовской россыпью созвездий и, повернувшись к Нонне Кирилловне, сказал решенно:

– Я не останусь на поминки. Не обижайтесь. Мне будет трудно кое-что преодолевать. Упаси боже, устрою скандал, на что в данных обстоятельствах не имею права.

– Что вы делаете со мной? – вскрикнула она, покачиваясь в кресле, закрыв лицо руками. – Как я без вас? Без вашей родственной поддержки?

Он подошел к ней, погладил по плотно обтянутому шершавым крепом плечу, этим прося прощения с той мерой соучастия, на которую сейчас был способен.

– Я не хочу, чтобы между нами сейчас лежала ложь. Я знаю, вы не любите меня. Но я благодарю вас за то, что вы были со мной искренни, а я хотел быть с вами искренним всегда. Не получилось. Но предать я вас никогда не предаю и всегда помогать буду по мере сил.

Она застонала, мотая головой.

– Вы ненавидите меня! За Юлию, за Юлию!..

– Это не так. Не стоит выяснять, что было. Уже ничего не поправить.

В кабинет приглушенно проникали из коридора невнятные шаги, голоса; со двора доносился шум подъезжающих машин, отрывистое шелканье дверцами – уже было время сбора приглашенных на поминки, и Дроздов заторопился, не вполне ловко взял жесткую руку Нонны Кирилловны, несильно ее пожал.

– Где мой Митя?

– Ваш сын на даче. Ему не надо все это видеть.

– Я прощаюсь с вами.

– Вы уходите?

Она величественно встала, выгнула стан, упираясь костяшками кулачка с зажатым в нем носовым платком в край стола, лицо ее с очерченными краской веками приняло неприступное, даже отталкивающее выражение (которое так знакомо было ему в прошлые годы), а слезы между тем быстрыми каплями выкатывались из ее оледенелых тусклых глаз, текли по щекам на стиснутые в синюю полоску губы, и это смещение величественной, гордой неприступности ее крупной фигуры и неудержимых слез горя тронули Дроздова своей незащищенностью старости.

– Простите, – повторил он. – Я позвоню вам завтра. Я всегда буду помогать вам, сколько хватит сил. Тем более – у вас Митя...

– Не звоните! – прошептала Нонна Кирилловна, и губы ее затряслись. – Никогда, ни за что не прощу вам Юлию... и Федю не прощу! Вы постоянно мешали ему, вы его ненавидели так же, как и меня! Вы мечтали занять его место, я знаю, я в курсе всех ваших темных дел! Георгий Евгеньевич честный, умный человек, рассказал мне все... Вы загубили жизнь моей дочери, и вы подталкивали моего мужа к гробу! Вы – враг нашей семьи! – перехваченным слезами голосом крикнула она, некрасиво оскаливая зубы. – Вы разрушитель нашего дома!

«Объяснение с Тарутиным в Крыму, и вот еще Нонна Кирилловна в Москве – не слишком ли для меня много в последние дни?»

Он с вежливым терпением, переждав взрыв ее гнева, спросил негромко:

– Я могу взять свою папку?

– За что мне такое мученье?... Возьмите ее скорее! – рыдающе крикнула она. – И уходите прочь! Я не желаю от вас никакой помощи! И для Мити ничего не надо! Вы были и остались врагом нашей семьи!..

Он молча взял желтую папку со стола, молча кивнул и вышел в коридор, в запах разваренного мяса, в мерзкое тепло еды, текшее из кухни, бегло увидел в раскрытую дверь столовой накрытый стол, закуски, бутылки, большое блюдо с винегретом, бессмысленно сумрачные знакомые лица, услышал сниженно тихие голоса приглашенных на поминки, еще не севших за стол, еще стоявших группками по углам, и, торопясь мимо зонтиков, сложенных в передней, пошел к выходу, с отвращением к еде, к этим фальшиво сбавленным голосам коллег, к их заготовленным поминальным речам, не имеющим никакого значения ни для еще живущих, ни для покойного, который теперь уже никому не нужен и никому не опасен.

«Этого можно не выдержать», – подумал Дроздов, выходя из полутемного парадного в ослепительный свет солнца, особенно жгучего после короткого ливня, сверкающего в зелени мокрых тополей во дворе, с голубым блеском луж на асфальте, где, растопырявая перья, шумно купались воробьи.

Прошлой осенью, поздним ненастным вечером, изучая документы экспертизы, Дроздов задержался в институте допоздна и уже перед уходом, гася в кабинете свет, был остановлен телефонным звонком и не без удивления узнал в трубке голос директора института, который просил спуститься к нему на второй этаж, если, разумеется, еще остались силы для небольшого разговора. Когда Дроздов вошел в кабинет, просторный, с великолепно расписанным золотистым потолком в стиле классицизма XVIII века, с солидными корешками старых и новых справочников в массивных шкафах, Григорьев сидел за громоздким столом, совершенно чистым, без единой бумаги, и, сняв очки, узколицый, седой, прозрачно-бледный, слабым жестом указывал очками на кожаное кресло против стола.

– Мы с вами... бывшие родственники... и ни разу по душам не поговорили, – сказал Григорьев и виновато сморщил губы, – а все в спорах, в несогласиях... А когда была жива Юлия, вы тоже не любили меня. Вы считали меня за ретрограда, за архаизм.

– Наверно, есть что-то выше наших бывших родственных чувств.

– Юлии уже нет на белом свете, а мы с вами живем. Бедная, невезучая... Где теперь витает ее ангельская душа? И слышит ли она нас? Нет, мертвым не надо слышать живых...

Он молитвенно повел скорбными глазами по потолку. Дроздов нахмурился.

– Я не хотел бы сейчас говорить о моей покойной жене...

– Я о другом, голубчик. Я давно хотел о другом... Сегодня какой-то нехороший, печальный вечер... Как-то жутко, знаете, слушать вой ветра и дождь, – заговорил Григорьев и опять сложил губы в подобие виноватой улыбки. – Вы гораздо моложе меня, поэтому, понятно, смотрите на жизнь, как на бесконечность в пространстве и времени. Так было и со мной в ваши годы. Старость для вас – за семью печатями. Да и будет ли она? Приблизительно так, Игорь Мстиславович?

– Боюсь ответить однозначно, не хочу быть неискренним, – сказал Дроздов, еще не вполне чувствуя причину этого разговора. – Я уже давно не воспринимаю жизнь как бесконечность.

– Так вот что я хотел вам сказать. Старость – это одиночество пустых осенних ночей. И страх...

– Страх? – усомнился Дроздов. – Простите, Федор Алексеевич, не понимаю.

– Да. Страх, – подтвердил Григорьев, с усталым отвращением откладывая в сторону очки, как будто невыносимо надоевшие ему. – Ожидание скорого наказания. И Судного дня. Помните, у Белого? «Меня несут на Страшный суд...»

– Наказания?

Григорьев молчал, отсутствующе и грустно глядя на незашторенное окно. А там по-ноябрьски свистал, наваливался, ревел в голых липах бульвара ветер, по черному стеклу колотил дождь, звонко бил по карнизу, огни улицы расплывались, текли световыми извивами; изредка внизу отсырело шелестели шины в мокрой асфальтовой бездне. С выражением тихой вины Григорьев прислушивался к гудению ветра, к плеску дождя, и впервые отчетливо проступило что-то вялое, старческое в складках его шеи, сжатой накрахмаленной белизной воротничка с аккуратным старомодным узлом галстука, и заметен был слабый белый подбородок, и отливающие опрятной сединой волосы, уже редкие, тщательно зачесанные.

– Наказание кого? – повторил Дроздов, нарушая молчание.

– Всех нас. Почти по Откровению от Иоанна. Апокалипсис ждет нас. И казнь.

– Но... за что?

Григорьев оторвал взгляд от окна, утомленно заговорил скрипучим голосом:

– Я часто думаю в старческую бессонницу: кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Где кончится наш человеческий путь? Во имя чего мы так нагрешили? Ради чего испакостили, изнасиловали землю? Во имя чего?

Дроздов иронически сказал:

– Во имя человека, как мы утверждаем. Во имя человека мы надругались над родимой...

– Не смейтесь, Игорь Мстиславович. Мы не пришли в науку туда, куда шли в начале века. Не заблудились ли мы? Дико то, что от древних времен и до наших дней все преступные... все зловещие дела делались под знаком блага человека и даже народа. Какой обман! Да, обман. Но это уже политика – внебрачное дитя истории. Кто ее отец и кто мать? Узнавать небезопасно.

– По-видимому – власть и желудок, – сказал Дроздов. – Впрочем, уверен: плохой или хорошей политики нет. Есть просто политика. Где много грязи. И лжи. И есть наука, где отсутствует научность.

– Наука? Политика?... Порой мне кажется – мы в тупике, мы жалкие...

Григорьев облокотился на стол, прижал узкие ладони к вискам и долго сидел так, опрятный, сухонький, вглядываясь в окно с горьким вниманием крайне переутомленного человека, то ли серьезно больного, то ли измученного длительным внутренним страданием, и эта не скрытая сейчас душевная боль не то чтобы удивила Дроздова, а вызвала настороженное любопытство. Помимо совещаний, их ни разу вот так в кабинете не соединял ни поздний вечер, ни дождь, шумевший на бульваре, ни яркий свет настольной лампы, обнажающий нездоровую серизну старых морщин на висках Федора Алексеевича, неожиданно заговорившего о том, о чем он избегал один на один говорить со своим заместителем.

– Что-то мы с вами не так... – еле слышно продолжал Григорьев, устало смыкая веки. – Мы с вами месяц назад разрешили вырубить пятнадцать тысяч гектаров заповедного уральского леса под Бирском. Погубили реликтовые породы деревьев. А мы хорошо знали, что построенное здесь водохранилище войдет в строй только через пять лет и вряд ли обеспечит город водой. Средняя глубина четыре метра. Эта же вода негодна для питья. А денежные затраты – тридцать восемь миллионов. Преступление, преступление...

– Месяц назад вы были другого мнения, – сказал Дроздов, силясь сдержать досадливый упрек. – Этот проект отстаивали вы.

Григорьев, стискивая виски, заговорил с торопливым сопротивлением:

– А вы думаете, я и сейчас уверен в абсолютной истине? Я в отчаянье! Людям нужна вода. Ее требуют. Но – какой ценой? Где «быть»? Где «не быть»? Где гибель? Где спасение? Демагогия слова стала мерзкой!

Погрызали в обещаниях и лжи! Нас обманывают, водят за нос, шантажируют, а мы – не наука, а политика умиротворения хищника! Знаете, кто хищник? Чиновники из Совета Министров! Проектировщики от ведомств! Лживые администраторы! Политика Мюнхена. Сегодня мы, ученые, разрешаем губить Байкал, Волгу и Днепр, завтра – поворачивать вспять север-

ные реки, послезавтра – вырубить весь кедр, всю тайгу для выполнения мифического плана. А потом? Тьма, конец. Не земля, а лысая круглая пустыня. Но что делать? Как противостоять? Я не знаю, голубчик, не знаю. Я потерял ориентиры... Как жить?...

Он отнял руки от висков и с жалким бунтом интеллигентного человека, доведенного до исступления, ударил бессильными кулачками по краю стола, отчего седые волосы разрушенной прически упали на лоб беспомощным завитком, своей снежной чистотой покорно и обидно показывая слабость человеческой воли перед вседержительным напором административной власти. Он, Григорьев, был довольно-таки славен в научном мире, но периодическая податливость могучим инстанциям в Академии наук, нестойкость его и вместе тактическая глухота к сверхактивным доводам безудержных сил, неукоснительно озабоченных стратегическими государственными интересами, – всю эту неоднородность Дроздов связывал с осложненной биографией старика, принужденного в сороковых годах несколько лет прожить ссылкой в казахстанских степях, вдали от науки. Связывал он с этим и его непоследовательную порывистость – от сопротивления к безразличию, и запоздалое возвращение в академики, и «голубую кровь», а в сущности разрушительную его нетвердость, которая раздражала особенно, и Дроздов сказал:

– Вы спрашиваете, что делать? Я уверен, Федор Алексеевич, что к гибели человечества ведет не зло, а доброта и беззубость.

– То е-есть? – протяжно выговорил Григорьев и отшатнулся в кресле. – Бога – на свалку, сатану – в кресло. Да здравствуют саблевидные зубы и костистые кулаки? Утверждать истину дроблением носов и челюстей? Аргументировать скуловоротами? Я растерян от ваших слов... Как это должно понимать, Игорь Мстиславович?

– Так точно, – ответил по-армейски Дроздов с опьяняющей решительностью. – Только так. Если мы хотим немного уважать науку. И чуть-чуть себя. Посылать всех хищников, прожектеров, и дуруломов из министерств и управлений подальше!

Со страдальческой гримасой Григорьев расстегнул пуговичку на жестком воротнике под старомодным узлом галстука, бескровные губы его собрали морщинки боли.

– Знаете, иные слова в мирное время подобны выстрелам... Вы стреляете в меня. Не смею отрицать. Вы смелее меня, современнее, героичнее.

– Вот уж, простите, чепуха! – не согласился Дроздов. – Если бы мне хватило героичности, я бы упразднил наш институт как сборище аплодисментчиков и дилетантов! Потому что многим улицы подметать надо, а не экологией заниматься!

– Игорь Мстиславович, вы все же экстремист. – Григорьев огорченно свел худые руки под подбородком. – Стало быть, вы за крутые повороты? Но разве вы всегда видите только непогрешимую правду?

– К великому сожалению, я не экстремист! – возразил Дроздов. – Конформист скорее всего. Иначе я с вами давно бы не работал, Федор Алексеевич. Мы – исполняющие чужую волю рабы...

Григорьев задержал затосковавшие глаза на черном стекле огромного окна с брызгами уличных огней, по которому непрерывно скатывались струи, скользили тенями намокшие листья, срываемые ветром с бульвара, и проговорил вполголоса:

– На старости лет я понял, что есть две правды. Между ними – биологическая яма. Между отцами и детьми. Правда отцов и правда детей. Страдания отцов приводят к истине...

– Федор Алексеевич, я ценю ваш ум и ваш опыт. А не ваши две правды.

Григорьев закрыл глаза, как бы печально вспоминая что-то забытое.

– Вы не чувствуете одиночества вот в такие осенние вечера? Как будто надолго надо отправляться в дальнее путешествие. Одинаково трагическое для всех. А я, знаете, жду этого путешествия. Каждому из нас рано или поздно предстоит... долгий вояж и покой. Я устал от людей. От бумаг. От лицемерия. А вы? Как вы себя чувствуете? Вы бодры? Полны сил?

– Я устал от болтовни и глупцов, – сказал Дроздов, хотя ему надо было сказать другое: «Я устал от вашей бесхарактерности, от вашей унижительной робости». Но ему было неприятно чувствовать старческую тоску академика, терзаемого одиночеством, сомнениями, каким-то душевным или физическим недугом, ищущего у него сочувствия в поздний осенний вечер с гудящим под дождем и ветром бульваром, с размокшими листьями на стекле.

– Нет, есть две правды: жизнь и смерть. И я боюсь экстремистов, которые ускоряют и то и другое, – повторил Григорьев погасшим голосом. – Вы также неправы.

– Я могу хоть завтра подать заявление, так сказать, об отставке. Так вам станет яснее.

– Нет, нет, не завтра! – вскричал Григорьев протестующе. – Никогда!

Только теперь, припоминая этот полуоткровенный и невеселый разговор, Дроздов ясно понял, что имел в виду Григорьев в тот ненастный вечер.

Глава 3

Два дня назад еще была безоблачная пора крымского августа...

– Сегодня мы шикаем, друзья мои. И поступаем, конечно, неблагоприятно. С точки зрения коммунистической морали. Тем не менее смею надеяться, что никто не ущемляет нашу волю, поэтому предадимся питию и чревоугодию. Я предлагаю Валерии распорядиться за этим столом, колдовать над меню и забыть о своей женской сущности, которая не изменяет родному девизу: экономия должна быть экономной. Сегодня, пожалуй, необходимо и напозволять себе...

И Дроздов, с удовольствием закуривая сигарету, подмигнул Тарутину, который мгновенно изобразил глубокомысленное раздумье.

– Истина – это то, что делает человека человеком, – сказал Тарутин, то повышая, то понижая голос – Чья цитата? Твоя? Моя? Или Нодара? Однако должен сказать: меня сбивают с панталыку твои широкие жесты. Никого не смущает этот гений мотовства?

– О да, – отозвалась Валерия насмешливо, передавая меню Гогоберидзе. – Но оба вы – гении празднословия. За исключением Нодара, который помалкивает, да знает свое дело.

– Пренаивные, длинноухие вокалисты, поющие утром и вечером без нот, – засопел Нодар Гогоберидзе, сурово сдвигая брови. – Буду кормить из своих рук. А вы изучайте эту грамоту, если не жаль времени. – И он небрежно отшвырнул меню.

– Разоблаченные пошляки, – добавил Дроздов и, наслаждаясь этим жарким крымским днем, затаился сигаретой, поглядывая в синее небо над пыльными тополями. – Не кажется ли вам, что мы уже не один день ведем порочный образ жизни? Едим, пьем, лежим под безоблачным небом на пляже, гуляем, глупим!

Дроздов, пожалуй, не мог бы точно объяснить, почему с самого утра он был в хорошем настроении духа, чувствовал бедовое желание шутить, ерничать, произносить ничего незначащие фразы – бездумное желание легковесного шутовства появлялось у него в Москве не так уж часто, и он сейчас не пытался гасить эти независимые от его воли вспышки в беспредельно свободном состоянии ничегонеделания.

Эта легкость настроения началась, вероятно, со вчерашнего теплого вечера, когда он заплыл далеко в море, погружаясь в закат, в багровое свечение воды, окунаясь в брызжущую радугойми благостную влагу, приятной солью щекочущую лицо. Он плыл и видел сквозь розовое сияние раскаленный шар солнца над краем моря. Потом шар этот стал вытягиваться к воде гигантской дрожащей каплей, постепенно расплываясь в дыню, зыбко легшую на черте горизонта, после чего дыня превратилась в стог горящего сена, затем в малиновый диск, медленно сползавший за горизонт, и, наконец, осталась узкая рубиновая полоса отблеска, небо же зеленело, становилось прозрачно-пустым, потусторонним, а вода неподвижной, темной. И сразу возникло чувство глубины, таинственной пучины, неизмеримого провала внизу, вызвавшего озноб на спине. «Как непонятно и удивительно это изменение», – подумал Дроздов с мальчишеским восторгом, упиваясь и постепенным превращением заката в вечер, и веселым страхом перед глубиной. «Все тайна, все человеками не познано!» – крикнул он Валерии в порыве удовольствия и, встретив ее вопросительный взгляд, подплыл к ней, тихонько погладил в шелковистой воде ее загорелое до шоколадной смуглости плечо, командуя грубовато: «Поплыли к берегу, что ли! А то я начну целовать вас здесь, и потонем к черту оба!» – «Какие безумные нежности!

Что случилось?» – засмеялась Валерия, переворачиваясь на спину, и поплыла к берегу, не спеша взмахивая руками. Ее лицо, сжатое резиновой шапочкой, показалось ему тогда юным, озорным и вместе притворно-безучастным, лицом коварной целомудреницы. Он видел рядом

движения ее длинного тела в воде, движения ее ног и наслаждался в избытке ощущений – от дуновения пахучего воздуха с нагретого за день берега и от этого непостижимо чудодейственного превращения заката в южный бархатный вечер.

Когда доплыли до берега, было совсем темно, пляж смутно белел, усеянный пятнами неубранных лежаков, и здесь запахло холодеющим песком, древесным теплом уже опустевших кабинок, пропеченных за долгий день солнцем, и Дроздову почудилось, что мятной сладкой прохладой пахнуло от Валерии, как по жердочке шедшей впереди него к топчану, где они разделась перед купанием. Он тихо и шутливо окликнул ее: «Ева», – она остановилась, замедленно повернулась к нему, сказала: «Я слушаю, Адам», – и подняла обе руки к затылку, как бы готовая снять купальную шапочку. Он обнял ее, влажную, теплую, чувствуя гибкую силу ее тонкого нагого тела, ее нежное сопротивление солоноватых после моря губ, уклоняющихся с полуудивленной улыбкой. «Нет, – сказала она, – нет, мы не будем „трепетно целоваться“. Это так устарело». – «Что же мне делать?» – спросил он с глупейшим неунывающим вызовом. «Терпи, Адам, как Господь Бог велел, – ответила она, смеясь. – Это пройдет».

Потом сидели на топчане, в сплошной черноте ночи; из ее звездных глубин, из сгущенной тьмы моря широко дуло свежестью. Млечный Путь сверкающими рукавами спускался к воде, к непроглядному горизонту; далеко слева, в бухте, воспаленным зраком мигал маяк, покачивались белые топовые огни на яхтах; бледнело за хребтом продолговатой горы зарево города, а тут перед пляжем, в потемках, изредка синевато искрилось и пропадало фосфорическое мелькание блесен – там, на молу, ловили на самодур ставриду.

Дроздов, не выпуская из памяти скользнувшие по его губам губы Валерии, в том же приподнятом состоянии духа начал говорить какую-то фантастическую чепуху о внеземном разуме, который мог бы, пожалуй, появиться сейчас над морем из этого скопища звезд, из тайн галактики, пора бы в конце концов встретиться с ним для дружеского рукопожатия, только неизвестно, что это даст человечеству – радость или великое несчастье, и принялся шутя утверждать, что человек с назойливым и давно надоевшим милой цивилизации упорством открывает в природе самого себя, как только выходит один на один с ней. Поэтому девиз – сомневаться и верить, сомневаться и желать, сомневаться и действовать – помогает познать не объективный мир, а собственную персону в земном мире, что он попытался сделать сегодня, правда, безуспешно для науки.

«Ты думаешь тогда, когда не думает никто», – продекларировала Валерия с напускной торжественностью и одним пальцем погладила его по мокрым волосам на затылке. «Чье это, позвольте спросить?» – поинтересовался он. «Пушкин». – «Ах, Александр Сергеевич, все у него прекрасно и все в общем-то грустно».

Вернулись в санаторий поздно; в вестибюле был притушен свет, горела настольная лампа за барьером конторки дежурной сестры, заспанной, с недовольным ворчанием подавшей им ключи.

Тихо поднялись по лестнице на второй этаж, и здесь он шутливо сказал Валерии, что их, вероятно, напропалую подозревают в безнравственно-ресторанном образе жизни, что оба без вины виноваты, а это досаднее всего. И, сказав это, посмотрел в ее полуулыбнувшиеся глаза («Бог с ними», – ответила она), а возле двери ее палаты он поцеловал Валерию в подставленную щеку («Спокойной ночи»), затем услышал, как за дверью щелкнул выключатель, в глубину комнаты простучали вьетнамки и скрипнули створки раскрываемого окна.

«Непонятный вечер, – подумал он, потирая лоб. – На меня накатило нечто сентиментальное. Ошалел, малый...»

В своей палате, жарковатой, душной, пахнувшей сухой пылью штор, он не зажег света, увидев в окне низкую накаленную докрасна луну, рассекающую световым конусом середину моря, и, оглушенный непрерывным звоном цикад из парка, исполосованного синими тенями,

сел на подоконник, закуривая, долго смотрел на далекие дуги огней по изгибам бухты, на бессонные фонари теплоходов у причалов.

«Да, все идет, как надо, все по-курортному, – думал он. – Но почему-то незавершенность в душе, что-то ускользающее... Впрочем, чепуха, наваждение и рефлексия. Все хорошо».

Он задвинул шторы, загораживая номер от беспокоящего лунного света, спрыгнул с подоконника, босиком пошел к постели по теплому полу, сопровождаемый металлическим стоном цикад, с чувством неопределенной радости и неясной, как дальний костерок, тревоги. Потом уже в постели он слышал сквозь сон незатихающий звон цикад, и одномерный шум ночного моря мнился ему медленными вздохами таинственной и счастливой Вселенной. «Какая это благодать – жизнь... Но что же такое наша жизнь?» – попытался он думать во сне, но, так и не найдя ответа, крепко уснул, с ощущением данной ему благодати жизни.

... Еще не открывая глаз, он почувствовал, как с шорохом кто-то раздвигает шторы и в комнату входит солнечный свет. «Кто же это командует у меня?»

И, улыбаясь в дреме, он открыл глаза и увидел у распахнутого окна Валерию.

Сиреневый прохладный отблеск дрожал на потолке. В комнате стоял свежий запах моря... – Доброе утро, пора к морю, петушок давно пропел...

И Дроздов, потягиваясь, ответил растроганно:

– И в самом деле – великолепное утро. Как я понял, вы уже выкупались. У вас мокрые волосы у висков и вид черноморской сирены, уже поплававшей за бонами.

– Вы угадали.

Аккуратно раздернув шторы, Валерия с влажным мохнатым полотенцем на плече присела на подоконник, из-под полы халатика были видны ее отполированные ровным загаром колени. А за ее спиной – верхушки тополей, залитый ранним солнцем парк, прозрачные тени на дорожках, теплое спокойное море в лиловой дымке, и вода у берега как увеличительное стекло, сквозь которое четко проступали донная галька, водоросли, – он даже почувствовал еще не ушедший ночной холодок камней на утреннем пляже, по которому она прошла босиком.

– Вы как старомодный оптимист, не закрываете на ключ дверь, – проговорила Валерия. – Я постучала, и дверь открылась. Но пришла я вас будить не из-за любви к ближнему. А из любви к хорошему утру. Пойдемте на пляж. До завтрака. Одевайтесь. Я вас подожду в парке.

Состояние приятного легкомыслия и вместе неясного беспокойства не покидало его и целый день на пляже, когда с Валерией они заплывали к бонам, когда лежали на песке, дурачась, вслух читали обожаемый ими «Крокодил», купленный в киоске по дороге через парк, оба смеялись, шутили, наблюдая за пляжем, где к полудню все стало бело, прокалено, горячая галька обжигала пятки, под навесами скопилась духота, и они устроили игру в отгадывание характеров и судеб вот этих загорающих часами людей, в изнеможении распростертых на знойном песке, на лежаках, сидящих на полотенцах вблизи слепящего моря с белыми запятыми парусов; всюду блеск, жара, визг детей, южное давящее солнце; всюду почти обнаженные коричневые тела «молодых праздных прелестниц» (по определению Дроздова), и как бы ненужно скрывающие их стыд черные очки под кокетливыми цветными платочками; и белые дряблые тела пожилых мужчин и увядающих женщин, вселявших ироническую энергию в Дроздова оттого, что он в своем уже немолодом возрасте сейчас относительно здоров, бодр, подтянут по-спортивному благодаря, вероятно, сорокаминутной утренней разминке, гантелям, воскресному бегу и умеренной еде, к которой был не жаден.

Ему было почему-то приятно говорить Валерии пустое, несуразную чепуху, подмывало острить в безгрешной и бездумной отрешенности. И он говорил, посмеиваясь, указывая глазами на проходящий катер, весь в блеске солнца:

– Гляньте-ка на этот дредноут, Валери...

– Почему вы меня называете Валери? По-моему, Валери – чуть пошловато.

– А не все ли равно, – продолжал он с беспечностью повесы. – Взгляните-ка на катер, ничего не замечаете? Экая удивительная терминология чиновных хозяйственников на его бортах! Государственное великолепие, непобедимое самодовольное достоинство: «пассажировместимость», «плавсредства»! Неправда ли, это словотворчество вселяет надежду, что все в мире идет как надо. А знаете, на днях вышел к железной дороге и радостно опешил от плаката минпутсообщения возле переезда: «Оберегайте детей от несчастных случаев. И случаев наложения ими на рельсы посторонних предметов». Чудо! Вот вам поэзия! Выучил как стихи на все случаи жизни. «Оберегайте детей...» Молодцы ребята из министерства, величайшие умницы и человеколюбцы!

Она смотрела на него серыми смеющимися в тени панамы глазами, смотрела на полосы седины в его влажных волосах, словно бы понимая и не понимая ребяческое настроение своего шефа, что редко замечалось у непостижимого для многих Дроздова в институте, а он сейчас не сдерживал подхватившую его игривую волну и несясь, блаженствовал на ее гребне, радуясь этому весело-шутливому настроению со вчерашнего вечера.

– Не прокатиться ли нам с ветерком на глассере? – спросил он дурашливо.

– Нет, – ответила она. – Не имеет смысла.

– Представьте очень страшную историю, слышанную мною три дня назад на молу, – продолжал он безмятежным тоном. – В прошлом году двое – он и она – заказывают глассер на прогулку. Что называется, честь честью купили билеты, сели, поехали. Ветер, море, солнце. Вполне приличные с виду люди. Муж и жена, ничего зверского, подозрительного. Она в джинсах и белой шляпке, он в джинсах и, ясно же, в каскетке. А в море угробили злодейским образом моториста и двинули на всех парах в Турцию. Да горячего не хватило голубчикам. Поймал, конечно, наш сторожевой катер. Шпионы, разумеется, одной иностранной державы. Купюры, валюта, яд, планы заводов, колхозов, совхозов и лабораторий, похищена пластинка с записью песен Пугачевой. Вот вам глассерные прогулки! Кстати, дельфины...

– Что дельфины?

– Как что? Гуманисты. Когда совершилось убийство и кончилось горячее, вокруг глассера появились бдительные дельфины и с горящими глазами стали проявлять неслыханный патриотизм. То есть – толкать спинами глассер к родной стороншке. Тут субчиков и поймали на берегу. Гуманисты, гуманисты, их девиз: надо уважать человека, человек – это звучит гордо! Вы не согласны?

– О, силы небесные, – вздохнула Валерия. – Подозреваю, что вы любите читать детективы, Игорь Мстиславович. Но я их не люблю.

– Невинная искренность! – Он загадочно взглянул на ее улыбающиеся губы. – Слушайте, Валери, а что, если здесь, на юге, мы с вами вдруг обвенчаемся в церкви? Хоть сегодня. Как вам эта мысль? Я плохо верующий, но обращаюсь к Богу за помощью...

– А зачем? – Она насмешливо подняла брови. – Мальчишеские дерзости?

– А черт его знает! Вы мне, пожалуй, нравитесь, Валери.

– А если вы мне не очень? Что же тогда?

– Ну, вы говорите ерунду. Я не могу вам не нравиться. Я не такой уж плохой парень.

– Святые угодники! Какая самонадеянность у нынешних ученых.

– Да, да! Во-первых, я не такой уж безобразный. Во-вторых, я заместитель директора научно-исследовательского института, в котором вы работаете старшим научным сотрудником и, стало быть, подчиняетесь мне. Не принуждайте меня использовать служебное положение.

– Уголовное дело. А сколько вам лет?

– Много. А вам?

– Мне тоже. Шестнадцать уже миновало.

– Не имеет значения! Три властителя в мире: то, что было, то, что есть, и то, что будет. Ваше «то» еще будет.

– Я за то, что есть.

Они засмеялись, и он, лежа рядом с ней на жарком песке, под полосатым зонтом, чуть-чуть придвинулся и невинно поцеловал ее в щеку, как это можно сделать по праву приятельской дружбы мужчины с женщиной. Она в ответ с ласковой настороженностью качнула полями панамы, спросила:

– Вы хотели бы быть молодым? Предположим, в возрасте двадцати шести лет? Или двадцати восьми, тридцати?...

– Никогда. И ни за что.

– Почему?

– То, что я, грешный, понимаю теперь, я не понимал раньше. Даже в мизерной доле. Я говорю об отношении к жизни. И даже не о жизненном, а о душевном опыте. В то же время, если мы с вами сорвем покрывало с истины, то погибнем, не в силах вынести тяжести познания. Вас это убеждает, милая тридцатилетняя женщина?

Она снова качнула полями панамы.

– Ни в малейшей степени. Вы говорите это легкомысленно, но я знаю, как часто у вас бывает плохое настроение, и вижу, какие бывают глаза.

– Да вы что, Валери? – не согласился Дроздов преувеличенно удивленно. – Вы это напрасно! Сейчас я – почти древнегреческий киренаик, исповедую удовольствия и отрицаю чувство боли. Вот видите! И если уж не хотите обвенчаться со мной, то предлагаю вам сегодня бездумную жизнь – обед в ресторане где-нибудь за городом – пригласим с собой Тарутина и Гогоберидзе. Как дружков несостоявшейся свадьбы. Как вы?

– Я рада, что вы себя хорошо чувствуете.

– Чувствую я себя прекрасно, пульс в норме, никакого дискомфорта, помолодел на десять лет, даже не прочь выпить, встряхнуться и серьезно поухаживать за вами.

– Вы опять? Я ведь вам не верю.

– Я опять. Верьте мне.

– У вас ничего не получится. Вы вдовец, и у вас сын. Я разведенка и монашенка. Куда уж нам!..

За двадцать дней пребывания в санатории Дроздов в самом деле почувствовал себя отдохнувшим, посвежевшим, бесследно прошли головные боли и изнурявшая его бессонница, появилась здоровая легкость, некое вольномысленное расположение духа, что радовало его, как выздоровление, как освобождение от угнетенного и нервно-беспокойного состояния, порой необоримо подавлявшего его в Москве при периодических головных болях, которые стали мучить его три года назад, после смерти жены, надолго (и до сих пор) выбившей его из привычного равновесия жизни. Как это ни странно было для сослуживцев, по-современному ядовито настроенных к разным чудачествам и «выпендриванию», он не любил академических домов отдыха и санаториев с их режимом, ездил в отпуск «дикарем», на своей машине, однако в этот раз выбрал именно санаторий, где была возможность общаться с коллегами, – он сознательно не хотел одиночества...

Заехали в маленький загородный ресторан, примостившийся в тени под грецкими орехами на берегу моря, ресторан уютный, вполне семейный, куда привез их на такси Нодар Гогоберидзе, заняли столик у каменной, увитой плющом стены, от которой тянуло плесенной прохладой, и, пока он озабоченно, долго и страстно объяснялся с официантом возле буфета, заказывая шашлык, лобio, соусы, всяческие травки, грузинское вино, Дроздов, ослепленный бесконечностью солнечной морской пустыни далеко внизу, за развалинами стены, напомилавшей руины средневекового замка, посматривал с веселой нежностью на Валерию и Тарутина, склонившихся над меню, роскошно украшенным вязью кавказских вензелей, и размышлял легковесно: «Много ли человеку надо? Душевный покой, трое приятелей, море, загородный ресторанчик, вот это разукрашенное вензелями меню...»

Тарутин в распахнутой на мускулистой груди рубашке, с патрицианской светлой челкой на лбу, похожий на седеющего юношу, вслух с трагическим выражением читал названия блюд и жадно взглядывал на загорелые плечи Валерии.

– Сациви! Пах-пах-пах! Суп харчо! Вах-вах! Вино – «Мукузани»! А-вай! Не желаю! Совсем наоборот. Желая – водка а-ля флот. Щи Преображенские. Каша семеновская. Суп маршальский. Запомнили, Валерия? И десерт – царская забава.

– Господи, нич-чего не понимаю. – Валерия отклонилась от меню, охватила колено руками. – Где вы нашли подобные блюда? Их в меню нет. И что такое – царская забава?

– Этого меню здесь и быть не может! – укоряюще сказал Тарутин. – Я вспоминал азовское меню Петра Первого. Особенно его любимый десерт – царская забава.

– Да что же такое, в конце концов, за забава?

– Прелестные девицы, прошу простить, чему великий Петр, осмелюсь заметить, придавал государственное значение.

– Николай, вы не изменяете своему жанру. Не опасаетесь быть однообразным?

– Злоустая женщина – не всегда дитя истины, – отозвался Тарутин и с безобидным озорством побежденно сник под взглядом Валерии. – Заранее согласен – медведь с Нижней Тунгуски. Можете убить сразу. Вашей тувелькой. Улыбнитесь еще раз, умоляю. Ну... и глазки у нашего стола! Улыбнитесь. Покажите зубки. Я вас впервые вижу в этом ресторане герцогиней. Кто вы? Что вы? Откуда? Как ваше имя?

«Кажется, у него тоже бездумное настроение, как и у меня уже не первый день», – подумал Дроздов.

– Не ослите, герцог. Изучайте меню.

– Я готов хоть на коленях. Только улыбнитесь. Где ваше герцогство?

– Сидите по-человечески, медведь с Нижней Тунгуски.

Тарутин захряхтел над меню, покорно и театрально проклиная свою недотепистость:

– Гд-х мне-х трех бутылках «Мукузани»?... Глазки, зубки. Герцогиня. Суп харчо. Где я нахожусь? В каком социальном обществе живу?

– Не ерничайте, Коля.

– Я прекращаю...

– Замолчите. Или я упаду в обморок от вашей глупости. Игорь Мстиславович, остановите своего сотрудника, которому пора бы уже не мальчиком, а мужчиной стать.

«Да, конечно, беспечная жизнь на берегу моря. Москва за тридцать земель, и действительно – загорелая герцогиня, изнеженная морем и солнцем», – подумал Дроздов, не без удовольствия наблюдая в этом Богом созданном на берегу моря безлюдном ресторанчике обычно резко острого Тарутина, но сейчас благодушно занятого меню и не значащей болтовней с неподдающейся Валерией, в тонкой прозрачной кофточке, в белых брюках. Он одновременно поглядывал и на солидного Гогоберидзе, внушительным верчением пальцев объясняющего что-то официанту около буфета.

– Друзья, – сказал Дроздов, – что вы можете обнаружить в этой летописи кулинарии, если сам Гогоберидзе взялся за наши желудки?

– Начали князя про малое говорить будто про великое, – произнесла Валерия, певуче окая, как, видимо, окали на Древней Руси, и медлительно улыбнулась, обдавая светом затененных панамой глаз. – По-моему, на всех нас действует юг как-то оглупляюще. Возникают какие-то миражи. Такая грань между воздушными замками и реальностью...

– К бесу миражи и воздушные замки! Слушайте меня! Это я вам говорю, Нодар! Я команду сегодня! Я презираю всякое дилетантство! Я вас привез в грузинский ресторан, а не в забегаловку!

Гогоберидзе, грузный, обремененный брюшком, выпирающим над тесными джинсами, с волосатыми руками, подошел к столу, отодвинул соломенное кресло, после чего, отдуваясь,

сел, обвел всех загадочно-тоскующими глазами, фыркнул крупным носом и бесцеремонно отобрал меню у Тарутина.

– Подкованы мы. Изучаем блюда? Хохот. Очень подкованы, – заговорил он презрительно. – А подковы тяжелые. Тянут. От земли не оторвешь. А ходить надо...

– Правильно, Нодар, – оживился Тарутин. – Сплошь в идеологических подковах!

– Нич-чего не правильно. Вношу существенную поправку на твое «правильно»! – возразил Гогоберидзе, и выпуклые его глаза остановили Тарутина в излишней поддержке. – Один инспектор ГАИ на Комсомольском проспекте стоял и меня все время задерживал – берет документы, смотрит, как баран, и молчит. Однажды спрашивает: «Нодар Иосифович, сколько мне лет?» – «Сорок два», – говорю. «Как узнал? Молодец!» – «А у нас общий знакомый». – «Кто?» – «Начальник ГАИ». Находчивый я, а? Проезжаю сейчас, под козырек берет. Так вот, Коля, ты в этот документ не смотри, а ищи сразу начальника, ответственное лицо. Без этого жалкого документа, – Гогоберидзе небрежно бросил на стол меню и сделал замыкающий жест рукой. – Все будет на высоком уровне. Надо только немного подействовать на национальное чувство, на кавказскую гордость. Здесь повар – грузин. Я не имею права сгорать со стыда за своих сородичей.

– Нодар, это – национализм, – упрекнул Тарутин. – Стыдись, старик.

– Я гражданин мира! – воздел волосатые руки Гогоберидзе. – Но я должен был сказать свое слово.

Глава 4

Все было на высоком уровне, обещанном Гогоберидзе, он «сказал свое слово» – шашлык, изготовленный из молодого барашка, распространял жгучие чесночные запахи истекающего соком поджаренного мяса, свежего лука; сухое вино (специально для московских гостей) было ледяным, приглашало во рту огонь перца; теплый лаваш, разрываемый руками, был вкусно-упругим, и Дроздов, с молодым аппетитом впиваясь зубами в сочное мясо, запивая его вином (как в студенческие годы, когда появлялись деньги), все так же испытывал или некая воля заставляла его испытывать безмятежное настроение ничем не скованного человека, свободного от каких-либо обязательств и забот в кругу своих коллег. Все суетное, московское осталось в другой жизни, и ни единой мыслью не хотелось из этого состояния возвращаться туда, в растопленный асфальт улиц, в духоту ночей далекой столицы, где царствовали телефонные звонки в пустой квартире, неистовствовали в его институтском кабинете, – там оставалась многомесячная бессонница, нервное напряжение.

«Вот и не очень разговорчивый в институте Нодар – чудесный малый, – думал он, видя, как со смачным причмокиванием Гогоберидзе хватает шашлык белыми зубами с шампура, как берет двумя обмасленными пальцами травку с металлического блюда. – Я как-то не замечал его болезненное товарищество, а это сейчас – редкость».

– Потрясающий новый анекдот, – говорил Гогоберидзе, делая страшные глаза и облизывая пальцы. – Одному знаменитому профессору медицины задали вопрос. Когда спит, куда кладет бороду – под одеяло или сверху одеяла? Вот такой коварный вопрос. Задумался. Потускнел. Голова пошла кругом от мыслей. Бессонница. И так положит бороду и эдак. Кошмары. Глаза на лоб лезут. По ночам из его комнаты слышался дикий хохот. Не выдержал. Обратился к врачам. Консилиум. Посоветовали: сбрить. Сбрил, рыдал. Едва не сошел с ума. Звери! Как теперь решать проблему?

– Очень смешно, – сказала Валерия.

– Ха-ха, – произнес Тарутин и подлил себе вина. – Поразительно – анекдот без бороды. Повтори еще раз. Хочу насладиться пиршеством остроумия. Заявляю тебе, что я смеюсь: ха-ха-ха!

– Не ха-ха, а хо-хо, – возразил невозмутимо Гогоберидзе. – Этот анекдот рассказываю сто первый раз. Сто второй при свидетелях не могу рассказать. Краснею. Нехорошо. Не разрешается повторяться. Ваше здоровье, друзья, я вас всех очень уважаю и приветствую за этим столом! Сейчас я крикну «ура».

Он поднял бокал, держа его двумя скользкими от жира пальцами, волооко и влюбленно повел глазами по лицам друзей, но Тарутин перебил его:

– Не кричи «ура», еще успеем. В светлых далях пятилетки. И недалекого коммунизма. Отпиваем по глотку и – аллаверды. Мой тост банален, но все-таки полагалось бы мужчинам тяпнуть за всех прекрасных дам, за редкость сопричастности...

– За что? За что? – спросила Валерия недоуменно.

– Меня не перебьют даже эмансипированные женщины... Я хочу тяпнуть за то, что сатанинское зло есть отсутствие любви, а любовь к слабому полу в конце концов – единственный заповедник на земле. Иначе оборвется род человеческий. Но в наше время человечество придумало, дьявол ее дерит, эмансипацию!.. И началась необъявленная война полов!

– Ай, какой тост ты испортил, друг! – воскликнул Гогоберидзе сокрушенно. – Хотел философию сделать тостом, а тост философией – и обидел женщин! У меня с Полиной четверо детей. Рожаем. Испортил тост!

– Родимый Нодар, цивилизация вырвалась из-под власти разума и исказила в первую очередь природу женщины. – Тарутин повертел в руке бокал с красным вином, ловя им солнце,

горячим веером пробивающееся в ресторанный дворик. – Прелестный пол имеет свойство. Слабость обращает в преимущество. Но я не отдам ни пяди своей души за чужое мирочувствование. Мирочувствование, – повторил он значимо и откинул седеющую челку на лбу, – что тебе, неисправимому счастливчику и фаталистическому оптимисту, вряд ли понять.

– Оптимизмом унижаешь? – Гогоберидзе щелкнул пальцами и заерзал в кресле, ворчливо говоря: – Где содержание тоста? Безыдейщина какая-то. Ненаучно.

– Нодик, великий оптимист нашего института! Каждое общество имеет такую науку, какую оно заслуживает, – повысил голос Тарутин и развел грудь в знак удивления. – Содержание принадлежит всем. Форма – достояние талантов.

– Черт знает что! Вы просто говорите стихами. – Валерия пожала плечом, закинула ногу за ногу. – Смыкание кругов, боже, боже... Мистическое созерцание равнин души и скорби. И что, как? Не пора ли избавляться от глупости, Коля?

– Я хочу избавиться не от глупости и даже не от скорби, а в первую очередь от слабости, – произнес Тарутин с наигранной грустью. – Я хочу выпить за освобождение от современных представительниц слабого пола, который дискредитировал себя, желая быть полом сильным. Я пью за освобождение.

«Не очень понимаю полускрытую язвительность Николая, – подумал Дроздов. – Иногда кажется, что между ними как будто есть что-то тайное. Но почему сейчас он так, в сущности, безжалостно заговорил с ней, дважды женатый и дважды разведенный сердцедец? Почему-то от него уходили жены. Два развода по инициативе жен. Что ж, и Юлия ушла от меня без слез и печали, как это кажется со стороны».

– Занятно, – проговорила Валерия, касаясь губами края бокала. – Вы сказали правду и не уклонились.

– То есть – мужскую правду?

– Только ли? А женская?

– Женская правда – это радость ошалевших от слюнтяйства дураков, простите тысячу раз, – с усмешливой непреклонностью ответил Тарутин. – Что-то в этом роде.

– Николай, в чем дело? Почему так грубо? – взмахнул над столом руками Гогоберидзе. – Мы все мужчины – дураки? О чем речь? Не щадишь!

– Речь о том, что слабый пол хотел бы весь пол мужской окунуть в эротическую купель. И подчинить его. Стало быть, произошло бы оскудение душ. Но, к счастью, мир оказался гораздо шире кровати, – сказал Тарутин и, встретив удивленно-вопросительный взгляд Валерии, добавил неуклонно: – Когда мы покоряемся чьей-либо воле, мы предаем самих себя. Если мы с трудом подчиняемся воле гения или пророка, то что говорить о послушании женщине?...

– Кто же ваш главный враг? – спросила Валерия, чуточку покачивая закинутой на ногу ногой и через стол разглядывая овлаженное лицо Тарутина, его по-юношески круглую столбообразную шею, его развитую грудь с мистическим «куриным богом» на тоненькой цепочке.

– Какой? Унутренний али унешний? – преувеличенно удивился Тарутин. – Хотите познать мою душу от А до Я? Ясно. Враг унутренний – многоликое существо в юбке. Враг унешний – гнилой империализм. – Он нарочно исковеркал слово. – Этот сегодняшний унутренний и унешний враг остается врагом и завтрашним.

– Плакать надобно одному, – неприязненно скривила губы Валерия. – Или одной, а не на людях. Тихонечко.

– Как это следует понимать?

– Как угодно, но главное – вы боитесь... вы чего-то трусите.

– Одиночество, Валерия, это все время быть рядом с самим собой – лучшее состояние.

Он глотнул из бокала, втягивая тонкими ноздрями запах вина, спокойно договорил: «Вот тогда я счастлив!» – словно бы подтверждая свою непоколебимость в познанной им тайне личной жизни, где происходит и послушание женщин, и предательство женщины.

Нет, он не был груб или резок, он был с Валерией то непреклонно-ироничен, то серьезен, то снисходителен, и это, по-видимому, злило ее. И Дроздову казалось: они некстати и не вовремя с милой колкостью мстили за что-то друг другу в этом райском уголке на берегу моря, где царствовала древняя лень августовского дня, пронизанного с самого утра знойным блеском, вызывающего желание жить доверчиво, просто, без лишних раздумий над тем, что есть сама жизнь. Однако он почувствовал, что утреннее настроение курортного бытия чуточку заколебалось, но все же не хотелось утрачивать в этом тенистом уюте грузинского рестораника прежнее душевное равновесие.

– С некоторых пор я не сомневаюсь, что нет нужды форсировать жизнь, – полусерьезно проговорил Дроздов. – И вот почему. Если в асинхронном двигателе увеличивать нагрузку, то он, конечно, увеличивает момент вращения. Но у двигателя есть критическая точка, после которой даже пылинка может его остановить. Кто из нас, Коля, не асинхронный двигатель?

– Прошу прощения, Игорь! – упрямо сказал Тарутин. – Твоя пылинка просвещенными мещанами называется несовместимостью. Чушь и ересь! Любовь сегодня – это выхлопы отработавшей тысячелетиями страсти. Экологическое неудобство. Умирают от окиси углерода, а не от пылинки любви.

Валерия, улыбаясь, проговорила речитативом:

– И только наука и глупость одинаково бессмертны, правда? Но... не антиморальная ли это мораль, Коля? Или ловко организованная провокация с вашей стороны?

– Пессимист! – возмутился Гогоберидзе и, шевеля бровями, переглянулся с Валерией. – Не корректно! Зверская натяжка! Не щадишь, Коля!

– Мораль, наука, любовь – что за дичь!

Тарутин расправил плечи и отвалился на спинку соломенного кресла, заскрипевшего под тяжестью его сильного тела, сумрачное упорство проходило по его освещенному солнцем лицу.

– Наука! Какая? – продолжал Тарутин с сердцем. – Наука прогрессивна, и потому она в конце концов пожирает себя! Насилие над талантом – вот состояние нашей науки!

– Ну, вот у слов вырастают зубы! – рассмеялся Дроздов. – Науку – на лопатки, ученых – к стенке. Что теперь делать? Непочтительность к науке – проявление дремучего духа, – добавил он примирительно. – Ты оглоблей lupишь всех подряд, дружище. Стоит ли без разбора?

– Стоит! – выговорил Тарутин и поморщился. – А впрочем... Не все ли равно муравью, что думает тот, кто насмерть раздавливает его страшной подошвой? Какая, к дьяволу, сейчас наука! Это расчетливый мафиозный заговор против природы, а мы – наемные убийцы! Раздавливающая жизнь подошва...

– И мы с тобой?

– И мы с тобой! – подтвердил Тарутин нехотя, отпил из бокала и до пояса расстегнул промокшую потом рубашку. – А четыре пятых нашего родного института – объединение бездарных лукавцев, прикрытых учеными званиями. Смешно!

– Поэтому ты не веришь в наш институт? – спросил серьезно Дроздов.

– Нет, не верю. Япония сегодня – это наша наука через двадцать лет.

– И четверем пятым не веришь абсолютно?

– Если даже можно верить лично тебе, то только до определенных границ, – ответил сухо Тарутин. – Власть развращает и таких либералов, как ты...

– И что же за этой определенной границей?

С некоторой заминкой Тарутин потер влажную переносицу, прорезанную поперечной морщинкой, проговорил, будто трезвея:

– Не хочу с тобой ссориться. Не помиримся ведь.

– Валяй, договаривай, если уж взялся крушить правдой-маткой, – разрешил Дроздов не без нарочитого простодушия, однако не представляя возможную противоестественность непримирения в их взаимоотношениях. – Хочешь, я напомню для твоего облегчения, что обо

мне говорят мои тайные оппоненты типа академика Козина? За определенными границами – пустыня некомпетентности и честолюбие. Или что-нибудь в этом роде.

– Плевать мне на Козина. Но есть понятие – согласие с изменой, – выговорил сумрачно Тарутин, опять налил себе вина, отпил несколько глотков, не закусывая. – Ты помогаешь предательству...

– Куда мы идем, несусветные люди? Во имя чего говорим такие убивающие слова? – подал голос Гогоберидзе и перестал жевать, вытер замасленные пальцы салфеткой. – Это не дискуссия! Это – ссора!

– Подожди напиваться, Николай, – сказал Дроздов и дружески положил руку на темное от загара запястье Тарутина. – Какую измену ты имеешь в виду?

– Вся твоя история с семейством Григорьевых. Начиная с твоей женитьбы.

– А ты знаешь, где в жизни граница справедливости и измены?

– Не испытывал.

– Тогда не трогай прошлое.

Тарутин, сжимая бокал в пальцах, помолчал, обметанные капельками пота скулы его отвердели, видно было, что ему тяжело перебороть сейчас что-то в себе, и он наконец сказал решительно:

– Знаю, что раз в жизни мы все выходим на единственную дорогу.

– Какую?

– Осознания своей вины, громко говоря.

– Всякий перед всеми и за всех виноват. Это Достоевский, кажется.

– Я знаю, Игорь, что наша многопочтенная наука летит вверх тормашками, сверкая голой попой, а ты еще ищешь ничтожные точки соприкосновения с академиком Григорьевым и обреченному хочешь дать глоток воды перед смертью. А это не спасение. Твой конформизм – бессмыслица и измена.

– Кому?

– В том числе и самому себе. Не имеет ли это подтекст, Игорь?

– Какой?

– Поссоримся ведь. И не помиримся.

– Валяй, говори. Что за подтекст?

– Соглашательский! Ты знаешь, о чем я говорю! – отрезал Тарутин, и вроде бы холодной колючей пылью обдало Дроздова. – Ты прав. Это прошлое.

В давней его дружбе с Тарутиным всегда вызывали неутоленное любопытство и уважение эта прямая непростота, несогласие, грубоватая, неподготовленная заранее формула, то есть недремлющее напряжение неуправляемого расчетом ума, порой уходящего от неразрешимых проблем жизни в горькие оголенные слова отчаяния и цинизма. Но то, что именно сегодня, вот здесь, в этом богоданном ресторанчике, Тарутин, кому он доверял полностью, с неожиданной неприязнью обвинил его в некой измене, – это, вероятно, можно было попытаться объяснить его рабочими перегрузками в последний год, бесконечными поездками на Чилим, боями в Госэкспертизе, накопленной усталостью до предела, вследствие чего нередким снятием стрессов был «зеленый змей», обманчиво помогающий выйти из переутомления.

– Я не хочу, Николай, вступать с тобой в состояние войны, – сказал Дроздов. – Подымаю белый флаг. Хочу мира и братства. Завтра, если ты окажешься прав... я сам вынесу себе приговор с утонченным мучительством. Согласен? Как во времена Достоевского. Ты согласен хотя бы на перемирие или отсрочку?

Он проговорил это с вынужденным миролюбием, понимая неискренность своего великодушия, которое почасту спасало его от срывов, от обижающей больше, чем резкость, яростной иронии, этого выверенного средства самозащиты. Товарищеская благодарность безоблачного времяпрепровождения погасла, он пожалел, что утрачивает утренний огонек в душе – и, как

бывало иногда, почему-то мелькнула мысль о возможности еще не случившегося несчастья. Чтобы поддержать давешний жарок умиротворения, он с веселой загадочностью взглянул на Валерию, намеренный сказать: «Что-то вы примолкли, Валери, и сразу стало грустно», – но не сказал. А она, внешне безразличная к их разговору, подперев пальцем висок, рассеянно смотрела на море, где в солнечной неизмеримости ползли низкие облака, а внизу золотые пятна скользили, двигались по затененной воде. «Мое отношение к ней должно быть ровным. Но что так задевает меня в ней? Неужели ревную?» – подумал он и вдруг испугался, что потеряет равновесие, не выдержит сейчас недоброты Тарутин, о чем будет потом сожалеть, и, умом призывая на помощь терпение, подавил в себе толчок бунта.

– Знаешь, я устал от наших неразборчивых объяснений, – тихо сказал Дроздов.

Тарутин молчал, не отирая пот, бегущий по вискам. Его белый лоб с прилипшей русой челкой был наклонен, глаза упорно опущены, губы сдавлены в дерзкий изгиб, в его облике проступило что-то упрямое, отталкивающее, и Дроздов подумал: «Жаль, что он много пьет и звереет. На лице обвал, Господи, прости... Но дело не в этом. Какое же добро без зла? Какая дружба без ненависти?»

– Тогда привет, – мертвым голосом выговорил Тарутин, с жадностью осушил бокал и поморщился, как от изжоги. – Очень благодарен. Извини за сенсацию безумия. Впрочем, вся наука безумна, а наша – импотентна.

– Кто импотент? Кого имеешь в виду? Оскорбляешь всех! – вмешался Гогоберидзе, бросил в блюдо лимон, сок которого выжимал на мясо, и замотал рукой. – Нет, ты сошел с ума! Прямо зла на тебя не хватает!

Тарутин встал с невероятной, непьяной легкостью, несоразмерной его атлетически сильному телу, расправил грудь.

– Успокойся, Нодарчик, я имею в виду почти всех! Всех мужей науки с их формулами, атомами, электронами и позитронами, с их дурацкими теориями относительности! Даже с поисками единой теории поля! – Он хрипло захохотал, поднес два пальца к виску, вроде бы взял под козырек. – Изрекаю нелепые колкости. Задушил общими местами. Чтобы познать устройство материи, надо задавать вопросы природе, а не смотреть в рот начальства. Агусиньки! Я вас всех ненавижу, всех ученых! Всех разрушителей материи поголовно! И себя не исключаю из вашего числа! Честь имею, мужи науки! Честь имею, доктора наук! – и, изображая приторно-клоунскую изысканность, шаркнул ногой, глядя на обоих светлым взором с холодком выюги. И Дроздов, едва справляясь с разгибающейся пружинкой бешенства, сказал вспыхнув:

– Морж ты огородный, Николай, со всеми твоими формулами! Я что – враг твой?

– Нет. Ты меня еще не предал. Хотя предавали другие.

Он держался на ногах твердо, речь была ясной, как всегда, только обильный пот обливал его развитые бицепсы, способные гнуть железные прутья, его мощную грудь, видную в распах влажной рубашки, а лицо, тоже потное, стало отчужденно-дерзким.

– Я ценю твое терпение. Благодарю, – со злым вызовом добавил Тарутин. – Что день грядущий нам готовит?

Они знали друг друга так давно, что сама эта давность была неудобством в последние годы, несколько отдалившие их в силу разных обстоятельств, между тем, как все уходило в зимние стужи Сибири, к той бессонной, после возвращения из Братска, ночи, о которой позднее оба не хотели вспоминать. Тогда за пьяным разговором в забегаловке близ Павелецкого вокзала порхнуло между ними слово «карьера», но сейчас же замялось, ибо опасно было обоим ожесточиться в пору своей отчаянной молодой решительности, связанной с бесшабашной женитьбой Дроздова, женитьбой, по мнению друга, ошибочной и расчетливой. И это воспоминание мучило порой Дроздова, как болезнь.

– Знаешь, Коля, – сказал он. – Стреляться на дуэли нам давно надо было, только люблю я тебя, медведя из тайги, по-прежнему.

Он говорил это шутливо, но в душе нарастало ощущение мутной тревоги, как если бы началось случайное скольжение на краю обрыва, а прекратить скольжение и остановиться уже просто нельзя было.

– Вас действительно обоих можно сейчас возненавидеть! – слышался ровно-насмешливый голос Валерии, и он, удивленный, увидел, как ее серо-синие глаза заискрились жестким смехом. И Дроздов спросил только:

– За что возненавидеть?

– За ваше спокойствие и ангельскую кротость. Какая эйфория! – И неожиданно вставая, она через силу озарила Дроздова фальшиво-прельстительной улыбкой. – Какая все-таки сила воли! Какое умение владеть простотой жизни, – прибавила она с прежней насмешкой в голосе. – Вы сегодня хотели со мной обвенчаться – не раздумали?

– Был готов, – ответил он, пробуя удержаться на границе шутливого спокойствия. – Как я помню, вы мне отказали.

– К счастью для вас, – сказала она и, выпрямляясь, сделала шаг к Тарутину, глядевшему на нее неподвижными глазами.

Она ладонью осторожно повернула в сторону его голову, чтобы он не смотрел на нее, стала застегивать пуговички на его распахнутой до пояса рубашке.

– Что ж, пойдёмте, правдолюбец. Я иду с вами, наивный женоненавистник. Дурак вы, ей-богу!

И она с неотразимой смелостью поцеловала его в потную щеку.

Гогоберидзе в молчаливом недоумении слушая весь этот странный за столом разговор, нарушивший ритуал приятельского шашлыка, пробования разнообразных кавказских закусок, дегустацию коньяка и сухих вин, хозяйственный и гостеприимный Гогоберидзе с некоторого момента перестал понимать смысл этого обеда, обещавшего красивые тосты, уважительное внимание друг к другу, но перешедшего из товарищеского согласия в несогласие, возможное в Москве, но невысказанное здесь, в этом южном благолепии на берегу моря, прогретых солнцем пляжей, зеленой воды, запаха мокрых камней, где не должно было быть даже намека на раздражение между коллегами.

– Куда, безумцы? – вскричал Гогоберидзе. – Мы приехали на машине и уедем на машине! Зачем я вас сюда привозил? Я вызову такси!

– Привет, – ответил Тарутин с небрежительной пьяной учтивостью. – Пошли, Валерия, на шоссе, ловить машину. До встречи в Судный день.

Дроздов откинулся в соломенном кресле и долго с задумчивым вниманием смотрел, как по древнему камню ресторанчика шли они к выходу, удаляясь меж столиков, мимо оббитой плюшем полуразрушенной стены римской крепости. Полдневные лучи падали сквозь листву над двориком жарким веером сверху, мягко плыли по белой панаме Валерии, полосами двигались по широким плечам Тарутина, облепленным рубашкой, – и это несочетание стройности в ее выработанной, мнилось ему, походке и грубоватой силы в мужских шевелящихся лопатках неизъяснимо задело его.

Что ж, ему не хватило воли растопить корку льда, намороженного незастенчивым в своей прямоте Тарутиным. Однако то, что произошло между ними, могло случиться, пожалуй, с недругами, но недругами они не были никогда, наоборот – между ними была потребность общения в московской обстановке современного хаоса, несогласия и горечи противоречий.

– Ай, как нехорошо на нас смотрят! – сказал смущенно Гогоберидзе.

– Кто смотрит, Нодар?

– Люди.

В раздумье он оглянулся на единственный занятый столик, за которым недавно шумели молодые грузины, увидел их сочувственно повернутые лица и кивнул им с приветливой любезностью, в то же время думая о Тарутине:

«А может быть, вся эта наша суэта вместе с искренностью, дружбой и взаимопониманием – трагикомедия, дурной сон, приснившийся чудаку».

Да, ими обоими не была найдена чистая правда, ничем не подпорченная необходимостью и целесообразностью всего того, что произошло и происходило за последние годы, изменив жизнь Дроздова и насыщая жизнь обоих разочарованием и горькой болью. И мучительно было подчас сознавать безоглядную открытость друга, его цинично-наплевательское отношение к собственной судьбе, измерявшего срок существования земли и рода человеческого в пределах десятилетия.

– Что с ним? Умный человек, а что творит! – заговорил Гогоберидзе, с досадой озирая блюда на столе. – Шашлык недоели, вино недопили! Наговорили друг другу целый воз обид! Я очень огорчен!

Весь жаркий, всклоченный, как после тревожного сна, Гогоберидзе говорил и недоуменно вздымал широкие брови.

– Простить – значит понять, Нодар. Это известно.

– Я его принципиально не понимаю! – воскликнул Гогоберидзе. – Вас не понимаю!

– Куда ни крути, Нодар, но Тарутин – это Тарутин.

– Личность, которая носит в «дипломате» веревку. Для чего! Чтобы повеситься в свободное время? – воскликнул Гогоберидзе. – Ой – пессимист! Не смейтесь, он веревку носит, большой чудака!..

– Веревку? Seriously?

– Я его уважаю как инженера... Но он пессимист и актер! Крикун! Не говорю уже о том, что сексуально необузданный! Два раза был женат! Страшный бред!

– Нам не дано право его осуждать, – остановил Дроздов и иронией постарался выровнять качнувшиеся весы: – Ну что же, будем продолжать пить «Мукузани», есть шашлык и наслаждаться жизнью или покинем этот экзотический шалман?

– Будем продолжать назло врагам, – с хмурой серьезностью ответил Гогоберидзе, разлил в бокалы вино, чокнулся с Дроздовым, выпил, махнул рукой и, подымаясь, договорил озабоченно: – Пойду скажу, чтобы свежий шашлык приготовили. Остыл, к сожалению.

– Да, пожалуй, Нодар, пожалуй...

Дроздов рассеянно посмотрел ему вслед и вдруг передернулся, озябнув в горячем воздухе нагретых камней рестораника, оттого что все московское опять точно бы возвращалось по тем же набившим оскомину городским законам, где с некоторых пор утратился правдивый и естественный смысл необходимости и остались лишь условность времени, суэта духа, вражда честолюбий.

Глава 5

Телеграмму передали ему в сокровенный час заката, когда угасающий день соприкасается с вечностью, с бессмертной благостью надежды на нерушимый мировой круговорот, – и Дроздов, выкупавшийся, освеженный морем после дневного сна, поначалу легкомысленно подумал, отвыкнув за месяц от сношений с Москвой, что телеграмма заблудшая, в адресе произошла ошибка, но тут же прочитав краткий текст, больно ударивший его словно бы неожиданной ложью, нелепостью сообщения, он хрипло сказал притихшей за столиком дежурной сестре: «Благодарю» – и с желанием глотнуть воздуха вышел в парк, не поднявшись к себе в палату.

Был предвечерний час, тишина, покой, беззвучность в пространстве моря, где чайки на стеклянной воде против еще светящегося неба выделялись застывшими черными силуэтами, а одинокие вдали фигуры гуляющих по пляжу двигались без единого звука, как в тихом мираже, и не слышно было ни шелеста волны, ни шороха песка, ни человеческого голоса.

Он развернул телеграмму и снова прочитал короткий текст:

«Федор Алексеевич умер, умоляю приехать. У меня нет сил. Нонна Кирилловна».

И Дроздов босиком, в шортах, с сырым полотенцем через плечо ходил по дорожке парка, ознобно ощущая грудью мокрый холодок полотенца, и в замешательстве повторял вслух:

– Неужели Григорьев?...

Через десять минут он поднялся к себе в палату, оделся, затем узнал у дежурной расписание автобусов и засветло поехал в городскую кассу Аэрофлота, доставать билет на первый утренний рейс в Москву.

Что ж, не один год между ними складывались непростые отношения: их позиции и выводы не совпадали во многом. Как говорили с некоторых пор в институте, за Дроздовым, бывшим зятем академика Григорьева, была относительная молодость, спасительное умение держать себя в руках, за академиком – и многоопытная жизнь, и физическая немощь, но духом, поражая всех, он не увядал и не сдавался, а фанфары побед в институте и Академии наук неизменно звучали под его знаменами, и лишь отзвуками мерещились на оборонительных позициях Дроздова, рождая слухи об их нетерпимости друг к другу, об изживании бывшего зятя из института и о его уходе на вольные преподавательские хлеба.

Он, Дроздов, один из заместителей Григорьева, не сопротивлялся коридорным слухам («Да, да, мечтаю о свободе с прошлого воскресения»), он знал, что всякое оправдание поспособствует еще более увеличенному распространению словесного яда вперемежку с кулуарным перемигиваньем. Но это непротивление, принимаемое иными за характер, иными за равнодушие, было той принятой им формой поведения, которое стоило ему нелегких душевных затрат. И он не мог никому объяснить, что с тех пор, как в последние четыре года обострились его отношения с семьей Григорьева, внешне ровное настроение было единственным спасением. Он боялся сорваться, как однажды случилось с ним в год смерти жены, и, боясь этого, принимал тайные уколы оппонентов с ироничным простодушием человека, не желающего отстаивать свою непогрешимость.

«Мы жили с ним по воле двух правд, – думал Дроздов, спускаясь на следующее утро по дорожке парка к пляжу. – Я был настроен против него. Как он относился ко мне? Скрывал свою недоброжелательность и боялся? Нет, думаю, он ненавидеть не мог...»

Он спустился к пляжу, и здесь перед нескончаемым сверканьем воды, перед знойной желтизной песка, приостановился на каменных ступенях, уже пышущих в этот час после завтрака солнечным жаром, беспричинно раздраженный обилием полунагих тел на песке, на лежаках, в лиловой тени под зонтиками, оглушенный визгом детей, бьющих ногами по воде возле берега,

возбужденными криками молодых людей в плавках, со сладострастием хвастливой силы бросающих по кругу волейбольный мяч, который, упруго звеня, взлетал над синевой. И Дроздов, почему-то сомневаясь, что встретит здесь Валерию и Тарутина, и тщетно пытаясь найти их в пестроте купальников и зонтов, выругался про себя: «Содом и Гоморра», – но тут, раскачивая бедрами, мощными, как танк, к нему приблизилась девушка, кокетливо заиграла из-под громадной панамы коварными глазами, пропела томным голосом:

– Ваша знакомая... ваша Афродита находится около зеленых зонтиков. С каким-то невежливым молодым человеком. Я вам сочувствую. У нее плохой вкус. Идите туда, вы ее найдете.

– Благодарю вас за донос, – проговорил он с мрачной галантностью и пошел по пляжу, приготавливая невысказанные вечером первые слова о кончине академика Григорьева, о вызове телеграммой в Москву, о необходимости своего отъезда.

– Почти не рассчитывал найти вас в муравейнике, – сказал Дроздов, подходя к зеленым зонтикам в конце пляжа.

Валерия, лежа на песке, повернула к нему голову, сняла противосолнечные очки и несколько секунд, щурясь от солнца, внимательно разглядывала его сдержанно-серьезное лицо. Тарутина рядом не было: на топчане небрежно валялось мохнатое полотенце, «История античной эстетики» Лосева, из песка торчали полузасыпанные мужские вьетнамки, поодаль в теневом полусвете зонтика висели его брюки; сам он, видимо, был в море, он заплывал, по обыкновению, далеко за буи.

– Ну, что? – с ласковой леню спросила Валерия. – Я вас не видела невероятно долго, со вчерашнего вечера-и вы вроде даже изменились как-то. Почему насупились? Неужели на вас так подействовало вчерашнее?

– Не в этом дело, – ответил Дроздов, невольно думая, что вот это тонкое, кофейное, с плечами гимнастки тело Валерии тоже подвержено двум измерениям, двум правдам – жизни и смерти, – о чем когда-то в ноябрьский вечер говорил Григорьев, теперь уже принадлежавший правде одной.

Валерия села на песке, обняла руками ноги, положила подбородок на колени.

– Я не знаю, что с Николаем... Боюсь – он разрушит себя. Его не убили женщины, его погубит вино. Жаль.

– Жаль, очень, – повторил Дроздов и, смутно следуя за ее словами, договорил: – Гогоберидзе сказал мне, что он демонстративно носит в «дипломате» веревку. Не верю в эту дикость. Она сбоку только взглянула на него и не ответила.

Помолчав, он начертил на песке резкий зигзаг, подобный молнии, сказал негромко:

– Я получил печальную весть из Москвы. Умер Григорьев. Я должен лететь сегодня.

В ее глазах мелькнул испуг, она прошептала:

– Беда какая...

– Телеграмму я получил от Нонны Кирилловны.

– Таких, как он, в нашем институте уже, наверное, не будет, – тихонько сказала Валерия, потираясь подбородком о колени. – Такими я представляла старых интеллигентов. Человек из девятнадцатого века. Когда вы летите в Москву? Когда похороны? А вот и Николай... «на брег из вод выходит ясных», – добавила с видимой неудовлетворенностью оттого, что им помешали договорить, и надела противосолнечные очки, затеняя лицо. – Господи, как все неожиданно!..

Тарутин вышел из моря, сияющего расплавленной ртутью за его спиной, очень узкий в бедрах, весь вылитый из гладкой бронзы, стряхнул ладонями капли с бугристых бицепсов, с груди, затем, на миг расслабив тело, тряхнул руками, как если бы закончил физические упражнения, и двинулся неспеша походкой к зеленым зонтикам, еще издали увидев Дроздова.

– Привет, – хмуро бросил он и, обдав свежестью влаги, йодистой влажностью моря, повалился животом на горячий песок, вкапываясь пальцами в его глубинную прохладу, с преизбы-

точным удовольствием застонал, показывая этим свою эпикурейскую независимость от целого мира, от всех его треволнений. – Вода сказочная, только появились медузы. Пожалуй, к похолоданию.

– Я улечу сегодня, – проговорил Дроздов, бегло глянув на Тарутина, и обратился к Валерии: – Когда похороны – не знаю: в телеграмме ни слова. Билетов в кассе тоже нет. Посоветовали приехать в аэропорт за два часа. Рейс в пятнадцать тридцать.

Тарутин поднял глаза; после воды, после долгого плавания был особенно ясен его светлый, холодноватый взор.

– В чем дело, Игорь?

«Он воспримет это известие по-своему», – подумал Дроздов и не успел ответить – Валерия опередила его:

– Умер Григорьев. Я тоже хочу улететь с вами, Игорь Мстиславович, если возьмете. Я должна быть на похоронах. Я обязана ему...

– Не знаю, успеем ли мы на похороны, – проговорил Дроздов. – Так или иначе, выезжать в аэропорт надо заранее, если вы решили лететь со мной. Собирайтесь. Такси я вызову.

– Ясно! – И Тарутин, выдернув пальцы из песка, оттолкнулся от земли и сел, опустил руки между колен, с силой сжимая и разжимая пальцы, точно искал для них работу. – Ясно! Ясно! – выговорил он отрывисто.

– Что вам ясно? – спросила строго Валерия. – А вы как? Поедете?

– Не поеду.

– Почему?

Тарутин подхватил с лежака полотенце, перекинул через шею.

– Я не хочу видеть фальшивую скорбь друзей и врагов покойного, – сказал он. – Вам этого достаточно, Валерия?

– Кого вы имеете в виду? Не сошли ли вы с ума, на самом деле?

– Имею в виду тех, кто теперь счастливо займет его место, – проговорил Тарутин со злым нажимом. – Вы хорошо знаете тех, кто укорачивал ему жизнь в последние годы. Это были близкие ему люди и наши общие знакомые.

«Я, наверное, тоже не все понимаю, что с Николаем, – подумал Дроздов, не без усилия гася раздражение против него. – Не понимаю, почему наши долгие, разные и трудные отношения он за один день превратил из мирного состояния в подозрение ко мне? Неужели он сейчас намекает на мой разрыв с Юлией? Или в нем желание разорвать наши отношения – что это, психоз? Он, вероятно, не простил мне ничего. Да, то не прошло и у меня...»

– Кстати, не исключено, – произнес спокойно Дроздов, – что место Федора Алексеевича будет предложено тебе. Знай, что я поддержу с радостью.

– Тех, кто предложит, я пошлю подальше, – обрезал Тарутин вяло. – Но я помешаю и тем, кто мечтает взобраться в освободившееся кресло. Агусиньки, Валерия, вы смотрите на меня очень уж сердито, – добавил он с притворным участием. – Ну, сколько можно выставлять свою фигурку и жариться на солнце, не превратитесь в шашлык, вас съедят. Но я вас покидаю. Иду в душ, смывать морскую соль. Билеты советую взять не в разные салоны.

– Я попрошу об этом Игоря Мстиславовича, – злоязычно сказала Валерия. – В одном салоне...

– Желаю вам!

Тарутин сильным рывком сдернул рубашку и брюки из-под зонтика, с ловкостью спортсмена сунул ноги во вьетнамки и направился к кабинкам душа, напрягая крепкие икры, отлично вылепленные природой, слегка покачивая атлетической спиной.

– Если бы вы знали, как мне жаль его. С ним происходит что-то неладное, – проговорила Валерия. – Вы все-таки должны его понять... простить. И меня... за передачу чужих слов. – Она в раздумье помолчала. – Простите?

– Постараюсь, коли смогу.

– Он как-то сказал в пьяном виде, что Юлия Федоровна перевернула его жизнь. Вы же были друзьями... Он сказал, что когда она заболела и умерла, то и он умер... Признался, что после этого стал пить.

– Юлия Федоровна перевернула его жизнь? – переспросил, отделяя слова, Дроздов, глядя в спину удаляющегося Тарутина. – Только ли его? Но было бы очень хорошо, если б в свое невротическое состояние Николай не впутывал имя моей покойной жены. Может быть, со стороны кому-то казалось, что она была грешница. Но это не так.

– Я знаю, вы и сейчас любите ее, – проговорила Валерия и посмотрела ему в глаза. – Это знает и Тарутин. Да что такое грешница, в конце концов?

– Пожалуй, сейчас неуместно говорить о моей жене, – перебил он. – Что ж, пойдемте к телефону, позвоним в справочную аэропорта. Хотя нет, оставайтесь на пляже, я все сделаю сам.

– Подождите, я с вами.

В последние годы, когда случайно или непроизвольно заходил разговор о покойной жене, которая ушла от него перед самой своей смертью, он чувствовал, как увеличивается «зона холода» в душе (пытаясь справиться со своей тоской, он так в отчаянии называл это накатывающее состояние безмерной пустоты) и не проходит то, что должно было уже пройти, что излечивает лишь время.

Глава 6

Он помнил, как в те студеные зимние вечера ее каблучки торопливо, весело скрипели, бежали под окном, потом хлопала дверь парадного, и все стихало в морозном безмолвии двора на Новокузнецкой, где он по-студенчески снимал комнатку. И, охваченный радостной мукой, он бросался к двери на ее дерзкий звонок. Она быстро и смело входила, высокая, в длинном пальто, с трудом сдерживаясь, приближалась к нему, подставляя ласково улыбающиеся губы; пар от дыхания на морозе инеем белел на ее бровях, вишневые глаза блестели после холода. И он, целуя ее губы, зачем-то все пытавшиеся улыбаться, поспешно расстегивал на ней пахнущее снегом пальто, улавливая, как молитву, ее опутывающий шепот:

– Здравствуй. Я шла к тебе и повторяла какую-то странную фразу, не то стихи, не то что-то греческое. Знаешь, какая фраза? Спасибо судьбе за то, что она еще отпустила мне срок увидеть тебя. Откуда пришли эти слова – я не знаю...

Из-под мокрых от растаявшего инея ресниц она смотрела на него зеркальными глазами обрадованной девочки, а он, чувствуя покорность ее, чудилось, озябших губ, шепчущих между поцелуями головокружительные слова, нетерпеливо кидал ее пальто на стул в передней и, обнимая, тянул к дивану, каждый раз оглушенный и металлическим запахом мороза, и холодком ее юбки, ее колен, и теплом маленькой, трогательно торчащей груди, и ее робкой в те дни улыбкой – нежные пухлые уголки губ коромыслищем стеснительно изгибались. И уже оставаясь один, в пустоте комнаты, он, словно бы обманутый скоротечностью времени, весь следующий день не мог думать ни о чем, кроме тех изнурительных минут их близости, вспоминая ее губы, в забытии терпящиеся о его губы, когда она со своей стеснительной улыбкой откидывала голову на подушке, шепча в изнеможении:

– Пожалей меня, пожалуйста. У меня нет сил.

Его мучили и этот ее беззащитный шепот, и изменчивое выражение ее лица, которое, казалось ему, он знал и любил много лет назад или видел во сне, хотя порой его мимолетно удивляла некоторая даже театральность в ее подставленных для поцелуя губах, в пристальном спрашивающем взгляде, в неожиданном вопросе, задаваемом ею в те минуты блаженной полудремы, когда все слова теряли значение. Поглаживая его грудь, она спросила однажды таинственно:

– Ты знаешь, о чем я думала сейчас? Я подумала о своей молитве. Ты не удивляешься?

– Нет, – ответил он серьезно. – Я знаю, что ты святая.

Она помолчала.

– Ты смеешься?

– Разве смеются над этим?

– Да, я святая. Я вчера и сегодня молилась, – ответила она без улыбки. – Знаешь, какая у меня была молитва?

– Я хочу знать...

– Пусть он любит меня, пусть он любит...

– Кто же, интересно – Бог или я?

– Ты опять смеешься?

– Я не смеюсь.

– Конечно, ты. Моя любовь к тебе – это беда какая-то.

– Почему, Юлия?

– Я не верю тебе. Это особое женское чувство, тебе несвойственное. Ты стал меньше меня любить. Ты уже не так меня целуешь. Ты рад, когда я ухожу.

Влюбленный до неистового беспамятства, возбужденный постоянной нежностью к ней, даже к звуку ее голоса, к шороху ее одежды, он сначала принимал эту негаданную ревность за

игру, которую ей почему-то нравилось вести с ним, успокаивал ее поцелуями, но она отстранялась, поворачивалась на спину и так с закрытыми глазами лежала, как мертвая, думая о чем-то своем, потом торопливые слезинки начинали скатываться по ее щекам. А кончив плакать, она осторожно шмыгала носом, после чего говорила обиженным голосом:

– Так и знай: никто из нас не переживет один другого, если обманет. А что сделаешь ты, если разлюбишь?

– Если я тебя разлюблю, то настанет конец мира, – говорил он, смеясь. – При нашей жизни этого не будет.

Они еще не были мужем и женой, и он еще не познал, что семейная ссора, размолвка или ревность почти всегда дают преимущество не мужчине, а женщине, как бы незащищенной, униженной и этой слабостью, в конце концов одерживающей победу.

Но что-то мгновенно весело изменялось в ее лице, фигуре, походке, когда они прощались утром. Он стоял в раскрытых дверях, провожая ее. Она спускалась по лестнице, скользко хватаясь за перила рукой. А внизу она кивала с гордой сдержанностью, словно они были еле знакомы, и хлопала дверь крыльца, выпуская ее, и вваливался в парадное морозный пар со двора.

Только раз он решился посмотреть в окно, чтобы увидеть на улице выражение ее лица. Она шла быстро по расчищенному от снега тротуару и быстро удалялась, он видел виляющее ее пальто и белые сапожки на острых каблуках (так твердо, радостно умеющих стучать в асфальт), но не увидел ее лица – она до глаз укуталась в мех воротника.

Быть может, поэтому после ее смерти стук женских каблучков постоянно напоминал ему те зимние замоскворецкие вечера, дымящиеся в холоде огни и ее, уже не живущую на белом свете, и все чистое, молодое, что было в далеких, невозвратимых, московских декабрях их первой близости.

Много лет спустя Дроздову снился один и тот же гибельный сон – будто он шел по талому льду реки, и вдруг лед начинал шататься, расходиться, проваливаться под ногами, и он спиной медленно падал, заваливался назад, погружаясь в черную пучину, захлебываясь, с забитым водой горлом, прощаясь с ней, единственной, которой уже не было...

Он пробуждался от липкого безнадежного одиночества, переживаемого им по ночам после ее смерти, и не сразу заставлял себя успокоиться, зная, что повторился навязчивый кошмар, от которого нет спасения.

И тогда в полуяви он представлял молодую, сильную Юлию, стучащую каблучками по тротуару, и мечтал о повторении в памяти далекой их общей молодости, и в эти бессонные часы любовь его к ней становилась почти отчаянной. Как будто из солнечного летнего дня она подходила к нему, поднимая лицо, словно бы случайно касаясь маленькой грудью его груди, и обнимала его тихо, преданно, и какая была у нее беззащитная ребяческая улыбка, какими беззащитными были ее детские слова: «Не обижай меня. Люби хоть чуточку». И он не мог забыть, как порой, подложив ладонь под щеку, она лежала на диване, пристально слушала его с грустным лицом и из полутемноты чуть поблескивали ее задумавшиеся глаза («Если ты только меня разлюбишь – значит это конец моих дней на земле»).

Он хорошо помнил и то, как однажды в нетерпеливом порыве приехал за ней на дачу в Мамонтовку, как она сбежала по скользким ступеням террасы и, озорно хлопнув набухшей калиткой, выскочила в сентябрьскую сырость неприятного вечера. Он приехал из Москвы на электричке и, как условились, ждал ее в дачном переулке, неподалеку от дома. Ветер хлестал по лицу холодными каплями, приносил из глубины темных дворишков запах мокрых тополей. Вокруг шуршал в садах дождь, а весь переулок был наполнен его бегучим плеском, они же, целуясь, стояли под скрипящим на ветру фонарем, свет его раскачивался, то гас, то зажигался;

дождь усиливался, из тьмы через заборы сыпались листья, липли к рукаву ее плаща, скользили, плыли в лужах по дороге.

– Я промокла до нитки, – прошептала она.

– И я, кажется, тоже.

– Что у тебя за странная геологическая борода? Ты ее отрастил на практике среди медведей?

– В Сибири борода у многих рабочих. Побриться – не всегда удается.

– Что теперь нам делать? Мы не можем быть на даче. Я боюсь матери. Она нас не поймет. А я так к тебе торопилась, что в чулане не нашла зонтик, к несчастью...

– Да какое это имеет значение! – сказал он с отрешенным мужеством, видя ее мокрые от дождя, дрожащие в озорном полусмехе губы, свежевлажный вкус которых он позднее никогда не чувствовал так жадно, так радостно.

Он расстегнул плащ, прикрыл полую ее плечи и, обняв, повел по переулку вниз, где размытыми пятнами просвечивали сквозь дождь и ветер огни платформы. Они шли, часто останавливаясь, и он опять с ненасытной жадностью искал влажно-яблоневый вкус ее омываемых дождем губ, а она, пошатываясь на подгибающихся ногах, уже все теснее, все молчаливее прижималась к нему – и порой он боялся, что они оба упадут сейчас в траву на косогоре, не разжимая объятий, в счастливой неутоленной тяге друг к другу. Плохо соображая, как пьяные, они дошли наконец до железнодорожной платформы, совершенно безлюдной, с вонью мазута в сыром воздухе, с гудевшим от дождя навесом, сотрясаемым ударами ветра, бессознательно сели в подошедшую электричку с заплывшими окнами. В вагоне, тоже холодном, пустом, плохо освещенном, где только двое неопрятного вида парней играли в карты, переругиваясь ленивыми голосами, они сели в самом дальнем от них углу, и здесь его снова окунуло в головокружительную сладость ее губ, ее послушно подавшейся к нему груди, и лишь изредка появлялось сбоку несущееся мимо тьмы залитое извилистыми струями окно с мутными точками мелькающих огней.

Потом он очнулся от близких голосов. Электричка гремела, мчалась в непроницаемой ночи, но сбавляла ход, свистком пронзая нахлесты дождя; под полом визжали, стучали колеса, а человеческие голоса внезапно возникли над головой, выделяясь из вагонного грохота.

Он резко поднял голову. Двое парней в кепочках, стояли перед ними, распространяя кислый запах табачного перегара, разглядывая их с оценивающим интересом; один грузный телом, морща серое, плоское, как блин, лицо, держал правую руку в кармане, выговаривал низким душным шепотом:

– Пощекочем их, что ль? Сейчас Софрино... Хмырь – плевое дело. Его на рельсы, ее на пол. Синичка, кажись, ничего, худая только, кадр, навроде тебя. До Загорска – наша будет.

– Ангелочки чистенькие ску-усные, ровно масло шаколатное, прямо съел бы я их, – с фальшивым умилением пропел другой парень, узкоплечий, играя шальными, перламутровыми глазами, и выпрямленной ладошкой погладил Юлию по щеке, где слиплись невысохшие волосы. – Ай, какая цыпочка сахарная! Так бы хрящиками и похрустел!

И Дроздов, словно пронзенный током, вскочил, мигом понимая, что может произойти сейчас в этой пустой электричке, среди непроглядной ночи, откуда никто на помощь не придет, и, вскочив с той мстительной вспылчивой готовностью, которая рождала в нем совсем другого, опасного для самого себя, разом как бы лишеного страха и благоразумия человека, проговорил злым выдохом:

– Шавки! – Он перевел дыхание. – Слушай сюда, что скажу! – прибавил он пересохшими губами, быстро сунув руку в карман, где лежал стопорный нож, купленный им во время практики на иркутском рынке. – Первое – мотайте отсюда к чертовой матери, чтоб духу вашего не было! Пришью обоих, – выговорил он сквозь зубы не раз слышанные в строительных бараках слова при общении с рабочими из заключенных, и растопыренной пятерней левой руки, как

это делали ссорившиеся урки, толкнул в грудь парня с блинообразным лицом. – Ну? Исчезай отсюда, черепаха! Брысь, сволочь!

– Ах ты, фраер, падла! – просипел парень, отступив на шаг, угловато вскинул одно плечо, а рука его задергалась в кармане, силясь выхватить из глубины нечто неудобное, массивное, застрявшее, что не успел увидеть Дроздов.

В этот момент сухощавенький парень вскрикнул пронзительно:

– Стой, Петь! Шухер! – и потащил блинообразного парня за рукав в проход, оглядываясь. Тот рванулся, стряхнул его руку, выругался шепотом:

– Отзынь на три вершка, сука!

Электричка, свистя, подходила к станции, замелькали осыпаемые дождем фонари, под ними все медленнее заскользила платформа, затем послышались за окном, ворвались звуки гармони, поющие мужские и женские голоса; напозла и застыла тускло освещенная станционная постройка, из-под навеса с пьяным визгом, криком бросилась к вагону толпа людей во главе с рослым гармонистом, на бегу прикрывшим полами белого плаща гармонь на груди. Загремели двери. Толпа шумно ввалилась в вагон, со смехом, с подталкиваньем расселась возбужденно вокруг парня в белом плаще, сейчас же кто-то крикнул томным девичьим голосом: «Сережа, давай нежную!» – и гармонист, в пьяном согласии склонив голову к мехам, сонно ухмыльнулся: «Цветочки, что ль? А?»

– Свечку поставь колхозной свадьбе, фраер, – выговорил с ласкающей угрозой блиннолицый парень, кивая в сторону запевших людей. – Еще б момент, я б тебе красивую дырочку в черепашке нарисовал, а твою... – Он сплюнул на пол, перевел водянистые глаза на прикусившую губу Юлию, – вот тут на полу красиво распяли б, навроде Иисуса Христа. Мешают вахлаки сельские, поют, вишь ты, хорошо... Но мы подождем. Я люблю, когда косточки бабьи хрустят, люблю это дело!..

Он нарочито хохотнул, вынул правую руку из кармана, двигая пухлыми пальцами, как если бы замлели они, и Дроздов воспользовался этим мгновением.

– Ставь себе свечку! – хрипло проговорил он, захлестнутый безумием ненависти к этому серому ночному лицу парня, водянистым глазам, к этой ласковенькой похабной угрозе, уже весь подчиненный одному бешеному действию, как бывало с ним не раз в секунды крайнего гнева, уже неосознанного, не остававшегося потом в памяти, тоже выхватил правую руку из кармана и со всей силы, точно перерубал что-то, молниеносно ударил ребром ладони по предплечью парня, а левой рукой резко толкнул его в грудь, зная, что парень не удержится на ногах.

Екнув горлом, хватаясь за предплечье, парень откатнулся в проходе, шатко переступая, и не удержался бы на ногах, если бы сзади проворно не поддержал его, заключив в объятия, сухощавый его друг, неожиданно разгульно запевший ребяческим фальцетом клоуна:

– Петь, сходить. Петь, сходить! Шухер мой, шухер мой, шухер шибко золотой! Петь, сходить! Петь, сходить!

И кривляясь, пятясь, потянул парня, по проходу к тамбуру вагона, будто изображая шутиливую игру и заискивающе предлагая ее принять Дроздову, который шел на них, в ослеплении бешенства потеряв чувство опасности, а блиннолицый парень, со стоном ощеривая зубы, пытался суматошно втиснуть непослушную правую руку в карман и вышептывал с выдохами:

– Убыю, падла! Уничтож-жу!.. Бритвой вырежу...

Ему не удавалось втиснуть руку в карман, рука шарила по куртке, повисала в бессилии, парень хрипел от боли, а сухощавый тянул его назад все дальше к тамбуру, мимо гармониста, мимо поющей компании, не обращающей внимания на трех парней, нетрезвыми толчками продвигавшихся к выходу.

Электричка тронулась, сдвинулись фонари, смутно побежала за окнами мокрая платформа. Это Дроздов заметил краем глаза, и в ту же минуту мелькнула мысль, что самое страшное произойдет сейчас, вот здесь, в тамбуре, если эти двое останутся в вагоне.

– Прыгай! – не разжимая зубов, глухо приказал он, надвигаясь на парней в тамбуре, готовый к яростной драке, и тем угрожающим движением, которым командовал инстинкт, выдернул из кармана трофейный немецкий нож, нажал на стопор. И, услышав, как с щелчком выскочило отточенное, будто бритва, лезвие, повторил непрерываемо и яростно: – А ну, соскакивай, жабы, или я вам устрою легкую панихиду! Быстро! Исчезай с глаз! Мигом! Линяй!

Тогда уже он знал, что только риск и неудержимый обезумелый натиск – единственное внушающее оружие в таких обстоятельствах, в слепых столкновениях с грубой силой, но, пожалуй, он не мог предположить, что хромированное как скальпель острие немецкого ножа, плотно влившегося рукояткой в судорожно сжатые пальцы, так быстро окажет действие на парней, вероятно, принявших его за тертого малого своей породы! Сухощавый, гримасничая, замотал головой на тонкой шее, вроде бы не соглашаясь, но рванулся к раскрытой двери, продолжая тянуть за собой пьяного парня, и здесь, в дверях, выпустил его и приостановился в позе изготовленной к прыжку кошки, крикнул с пронзительным визгом:

– Где мои коготочки? Рву! Петь, давай!

Они оба упали на платформе, исчезли в мутно-желтой пелене ушедших назад фонарей, а Дроздов, выглянув наружу, в режущую по лицу мокрую мглу, не увидел их сквозь дождь и, машинально закрыв дверь, стоя один в качающемся, гремящем тамбуре, почувствовал не облегчение, а злой стыд и сожаление, какого не испытывал никогда раньше.

Его била дрожь, испарина выступила на лбу.

Он взглянул на лезвие ножа, нажал на стопор и убрал эту хромированную опасность, и в этот миг оголенно ощутил себя во всем противоестественном, нелепом, грубом, что произошло с ним сейчас, с чем сталкивался и прежде, но особо отвратительном теперь в присутствии Юлии, видевшей, конечно, его лицо и слышавшей его мерзкие слова.

Долго спустя, уже прощая Юлии все, он иногда думал о том своем неудержимом состоянии, неподвластном ему, о моментальном переходе от нежности к гневу и злему действию и относил это к унизительно-пещерному, непознанному в человеческой душе, как к темному «лживому» в науке, призывая здравомыслие к снисхождению.

Но тогда он подождал немного в тамбуре, со сцепленными зубами, переживая бешеную решимость, – и до боли потер лицо, чтобы успокоиться.

Когда же он вошел в вагон, еще издали успокаивая ее улыбкой, там заливалась гармонь, упоенно сталкивались в песне женские голоса, единодушно по-бабьи жалея удалого Хазбулата; электричку качало, под ногами грохотало, тьма мчалась за окнами, залитыми дождем, Юлия с сумкой на ремешочке через плечо шла навстречу по шатающемуся полу, на ходу цепляясь за спинки сидений, ноги в ботах заплетались, как если бы мешал плащ или она была пьяна. Он испугался, что она упадет, и кинулся к ней. Она обняла его, так отрешенно и страстно прижалась к его груди щекой, так горячо и неутешно заплакала, вздрагивая в его руках, что он, не выпуская ее из объятий, повел в тамбур и здесь, спиной прижавшись к дребезжащей стене, целуя ее облитые слезами щеки и губы, говорил ей что-то несвязное, успокоительное, плохо слыша ее шепот:

– Спасибо тебе, спасибо, ты... ты, оказывается, меня любишь. Но какое у тебя было страшное лицо – дикое, какое-то бандитское, как у них.

– Забудь, пожалуйста. Мало ли что бывает...

– Если бы не ты, они замучили бы меня. У них лица садистов и убийц. А этот маленький кривляка...

– Обыкновенная вооруженная шпана.

– Я боялась за тебя, Игорь. Я дрожала, как мышь...

– Знаешь, твои губы почему-то имеют вкус вина, – перебил он шепотом.

Она высвободилась из его объятий, смеясь, расстегнула сумку.

– Когда ты пошел за ними, я думала, что умру со страха. Я выпила несколько глотков. И мне стало легче. Попробуй, пожалуйста. Я взяла из дома папину командировочную фляжку. На тот случай, если мы с тобой промокнем окончательно. Здесь коньяк.

Она вынула из сумки плоскую никелированную фляжку и протянула ему с радостной доверчивостью.

– Ты знаешь, это помогло. Попробуй. У меня немножко голова кружится. И даже стало весело как-то. – Она опять прижалась щекой к его груди. – Мы с тобой как двое бродяг. Едем куда-то на край света, а вокруг – дождь, ветер. Жуть... Вот что: давай доедем до Загорска, найдем гостиницу и проживем дня два. Ты за или против?

– Почему вот эту штуку ты назвала «командировочная»? – спросил он, отвинтив крышечку маленькой фляжки, и сделал глоток пахучей жидкости. – Правда, коньяк.

– Эту фляжку папа каждый раз берет за границу на случай простуды, – ответила она. – Очень помогла ему в Лондоне. Он там чуть не заболел воспалением легких. Лежал в отеле один и согревался... Так ты согласен в Загорск? Или раздумал?

– Нет, не раздумал. Я готов хоть и в Лондон.

– И хоть на Енисей?

– Пожалуйста, на Енисей! С тобой!

Лондон, фляжка, два парня, желающих «чтоб хрящики похрустели», папа-академик, дочь – студентка института иностранных языков, убежавшая в ненастный вечер с дачи родителей, бедный «рыцарь», влюбленный студент геологического факультета, вернувшийся с практики на Енисее, холодный вагон электрички весь в стрекоте осеннего дождя, поющая компания, видимо, возбужденная чьей-то свадьбой, стопорный немецкий нож, смертельный блеск хромированного лезвия, в защите готового к преступлению, – все это в его сознании тогда выстраивалось в какую-то логическую необходимость, а все непредвиденное, что могло с ним и ею той ночью произойти, не воспринималось им со всей возможной непоправимостью положения, и настоящее казалось неизменной обещающей радостное везение надеждой.

– Вот какой у меня план, послушай внимательно, – сказала она ласковым голосом, взглядывая на него кротно. – В Загорске мы найдем маленькую гостиницу, снимем номер, такой, знаешь, тихий, уютный, очень провинциальный, как в рассказах Бунина, а дождь будет идти и идти за окнами... А утром пойдем в Троице-Сергиеву лавру, помолимся о своих грехах. Мы ведь с тобой очень грешные. – Она быстро перекрестилась. – Правда, я с тобой стала грешницей. Вот смотри, что я надела. Это мама мне купила в какой-то церкви. Хоть мама и не верит... Но знаешь, я думаю, что есть что-то вне нас...

Она отстранилась, размотала легкий шарф на горле, забелевшем в полутемноте тамбура, отогнула воротник водолазки и вытянула крошечный крестик на цепочке, держа его двумя пальцами.

– Вот видишь?

– Ты его носишь?

– Поцелуй его, пожалуйста.

– Я лучше не крестик.

– Нет, нет именно его. Это ты целуешь меня. И Господа Бога.

Он поцеловал крестик, нагретый ее телом, пахнувший духами, представляя, как они проведут ночь и, конечно, весь день в гостинице в неутоляемой близости и усталом сне, спускаясь из номера только на час в буфет или ресторан, потом на следующий день она неутомимо потащит его по городу, который будет ему, пребывающему будто в колдовской паутине, не очень интересен, поведет в Троице-Сергиеву лавру, где якобы надо «молиться» о неких грехах, потом опять будет ночь почти без сна и раннее утро с лиловеющими окнами, с тишиной на всей земле, и она первая прервет их блаженное одиночество, с веселым озорством скажет, что в конце концов следует красной девице и добру молодцу быть благоразумными, вспомнить о

насущенных заботах, как часто говорила она на заре в комнатке на Новокузнецкой, после чего наскоро целовала, быстро одевалась и уходила от него, оставляя ощущение ничем незаполненной пустоты до вечера.

В Загорске они пробыли два дня, как он и предполагал, но было одно исключение. Она сказала, что заболела некстати, не хотела оставаться в гостинице, все тянула его бродить по осеннему городу, сплошь заваленному листвой, под морозящим дождем, мимо потемневших сырых заборов, облетевших садов, чернеющих ветвями над тротуаром. Она была молчалива, задумчива, лицо клонилось под капюшоном плаща, и он тоже молчал, стараясь угадать и не угадывая причину ее изменившегося настроения. Они долго стояли в сумерках перед Троице-Сергиевой лаврой, утонувшей куполами в низком клубящемся небе, затем молча пошли вдоль каменных стен к воротам. Во влажном воздухе пахло от прочного камня древним запахом, обволакивая тихой и терпкой печалью давно ушедшего всевластного величия, напоминая о своей смиренной послушности времени, и этой осени, и этому дождю, и новому веку, едва сохранившему лишь в воспоминаниях былое влияние, скорбно утраченную надежду на жизнь благолепную.

В церкви совершалась служба, слышен был хор, в раскрытых дверях шевелились среди глубины храма свечи, на паперти же мокли под дождем две старухи нищенки, они зашептали что-то, закланялись, протянули лодочкой сложенные ладошки, в которые Юлия щедро положила по рублю.

Все здесь ритуально светилось огнями, наплывами овеивало ладаном, растопленным воском, согретой в тепле, намокшей одеждой столпившихся перед иконостасом людей, откуда в тишине тек над головами толпы речитативно-напевный голос священника. Юлия украдкой перекрестилась, с робким лицом возвела глаза к блестящему золотом иконостасу, он же, не без неловкости отворачиваясь от икон, почему-то подумал, что ей, наверное, хотелось вступить в неизъяснимую загадочность, в таинство непонятной ей молитвы, а ему, мнилось, бесполезной, чуждой. Потом рядом послышался шепот, какое-то движение, он обернулся, увидел очень высокую монашку в черном, как представлялось всегда, гробовом одеянии, подошедшую со свечой в руке от боковой иконы. Монашка приблизила озаренное красным светом сухое лицо к расширившимся в страхе глазам Юлии и что-то сказала ей, и вновь отодвинулась к темной боковой иконе, мелко крестясь. Глаза Юлии, вобравшие сразу весь блеск огней в церкви, обратились к нему, крича о беде, прося о помощи (похожее выражение было тогда в вагоне электрички), и он бросился к ней, не зная, что произошло.

– Что, Юлия?

– Пошли, пошли, – зашептала она поспешно, направляясь к выходу и с изумлением глядя себе под ноги. – Ты знаешь, что она сказала мне? Ты, конечно, видел, что монашенка подошла? – растерянно заговорила она, когда они вышли из церкви. – Она сказала, что мне нельзя... Нельзя... Что я вошла в непотребном одеянии в Храм Господний...

– В непотребном одеянии?

– Брюки, ох, эти брюки, – воскликнула Юлия и расстегнула плащ, оглядела себя с сердитой досадой. – Невероятно! Уму непостижимо! Нет, не хочу, не хочу! Уедем отсюда немедленно, здесь все неудачно! Нас чуть-чуть не убили по дороге. Я заболела совсем некстати. Мы не замолили свои грехи. Вот сколько у нас неудач!

Похоже было, что ей надо было разозлиться или заплакать от этих неудач, но она засмеялась неожиданно, и в ее заискрившихся, что-то вспомнивших глазах появилась вызывающая непреклонность.

– Можешь запомнить, – сказала она. – Не хочу вешать нос, потому что знаю, почему меня невзлюбила эта монашенка!

– Почему же?

– Угадай! И посмотри на меня внимательней, дурачок ты!

Она откинула капюшон, вздернула голову, подставляя его взгляду радостно растянутые улыбкой мокрые под дождем губы, и он, вспомнив их вкус прохладных яблок, нежное их движение под его губами, нежную влажность ее зубов, сказал запнувшимся голосом:

– Пытаюсь догадаться.

– Правильно, отлично, замечательно объяснено, – поддержала она с лукавым согласием, довольная им. – Нет, ерунда, нелепица страшная! – прервала она себя, задумываясь. – Я не имею права, не хочу на нее злиться, она слуга Бога, можно представить только, как часами она стоит на коленях во время молитв. Нет, я недобро и глупо о ней подумала!.. Когда-нибудь и я уйду в монастырь. Говорят, у нас есть один, женский, где-то на севере. Как, должно быть, там хорошо! Тишина, голубое небо, хруст снега, закат над куполами...

Он пошутил:

– В монастырь? Для этого надо много нагрешить, Юля.

– О, я чувствую, что много нагрешу, – заявила она. – Папа как-то изменил себе, разгневался и сказал, что я ни в мать, ни в отца, ни в проезжего молодца. Сказал, что я шаловливое дитя летнего ветра, который не поймает сачком для бабочек. Наговорил, конечно, хотя любит меня. Но я знаю, в кого я.

– В кого?

– В козу-дерезу или в Василису Прекрасную. В кого-нибудь из них.

– Не ясно. Хотя чуть-чуть брезжит.

– Только не в милую мою маму. Я не выношу ни театр, ни математику. Крокодильское сочетание. Расчет и драматические мизансцены. Это какой-то кошмар! Да нет, по-моему, ты ничего не понимаешь. Смотришь на меня, а думаешь о чем-то другом! Я знаю, о чем ты думаешь! Ну, перестанем об этом. Нас прогнали, а мы еще тут философствуем о геральдическом древе. Олл райт, вери мач, сэр. Знаешь что? Я промокла и замерзла! Завтра будет мокрый нос, начну чихать – отвечать будешь ты.

Она взяла его под руку и, притираясь бедром, быстро потянула его вперед, заставляя одновременно с собой перескакивать через лужи, а он, прижимая ее локоть к своему боку, изнемогая от ее близких порхающих движений (можно ли было ее поймать в сачок для бабочек?), от ее искренне-доверительного голоса, внезапно остановился, привлек ее к себе.

– Слушай, я тебя люблю... Черт знает как люблю...

Она выпрямилась с победным вниманием.

– Так. Произошло. Басня, сказка, легенда, миф, библейская притча... и как там еще по-английски? Сейчас вспомню. Ах, вот как! Фабл! Это значит: болтать вздор, бабы небылицы.

– Да никакой там еще не «фабл»! Я тебя люблю, – повторил он и обнял ее теснее. – Я люблю тебя, и это не сказка, а правда... Это то, что ты со мной в каком-то Загорске...

– Не говори этого больше. Иначе я начну ревновать. Лучше скажи так: ты мой друг. Когда ты говоришь, что меня любишь, то я начинаю чувствовать себя властительницей над тобой. Тогда я не знаю, что могу сделать, если ты посмотришь на какую-нибудь другую женщину. Ты меня люби, но я твой друг, хорошо?

Он возразил:

– Я не хочу, чтобы ты была только моим другом?

Он наклонился к ней. Она почему-то зажмурилась.

– Ты меня очень люби, но не говори об этом. – И отрываясь от него, чуть изогнулась назад. – Ты, наверно, хочешь, чтобы мы пошли с тобой в гостиницу? Но мне нельзя, нельзя. Тогда вот что. Мы должны немедленно отсюда уехать. Хотя, подожди, у меня есть предложение. Давай зайдем в гостинице в ресторан и перед отъездом немножко кутнем. Денег на шампанское и кофе у нас хватит. Мы промокли, а я хочу посидеть с тобой в тепле. Только знаешь, я как-то не привыкла к твоей бороде.

А дождь не переставал, моросил в городке по-осеннему, быстро сгущая сумерки в ранний вечер, и уже зажглись огни в окнах; влажно засветились еще не опавшие листья в поникших палисадниках, в пустынных улочках выплыли из голых ветвей, распустили желтый свет редкие фонари в мелькающих водяных сетках, и по дороге не встретили ни одного прохожего, пока шли до гостиницы.

Да, это была безоглядная пора их молодой влюбленности.

Глава 7

Тогда перед женитьбой он представил Юлию матери, по своему желанию приехавшей из Саратова для личного знакомства с невестой сына, мать переспросила испуганно: «Юля? Да что же это за имя такое заграничное, батюшки мои?» – и прикрыла рот ладонью в озадаченности.

– Я вам не понравилась, Анна Петровна? – спросила Юлия и опустила на корточки перед ней, сидевшей на краешке дивана, и погладила ей руку. – Чем же я вам не понравилась? – опять спросила она, льстиво заглядывая ей в расстроенное лицо.

Мать покачала головой.

– Да имя у тебя какое-то особенное, девочка... И сама ты вроде елки наряженная... вроде игрушка какая... А ведь Игорь парень простой, не из профессорской семьи, как ты, девочка. Жизнью не балованный. У него все в детстве было – и голуби, и хулиганство, и драки с поножовщиной, а отец в мужской порядочности его воспитывал, к книгам и самостоятельности приучал, особо к книгам приучал, да, не балованный... На чистой бухгалтерской работе отец у нас был, библиотеку огромную имел, а мозоли на руках считал благородством. Как же вы семью-то строить будете? Картошку жарить умеешь? Суп варить? Белье стирать? Пуговицу пришить? Какая же работа у тебя, девочка?

– Я преподаю английский язык на курсах, Анна Петровна, – сказала Юлия, не подымаясь с корточек, виновато блестя глазами, и все ласково поглаживала ей сухонькую руку. – Я ничего не умею, – призналась она и стеснительно добавила: – Но ничего. Я научусь.

– Кое-что умею я, – вмешался Дроздов, зная, что мать не принимает шутки. – Варить суп, жарить картошку и яичницу, делать шашлык на веточках и прочее. Стирать и пуговицы пришивать тоже. За три года тайга научила меня, мама, даже спирт пить.

– А тайга тебя рожать детей не научила? – проговорила мать сурово. – И на кухне стоять не мужчинам надо. Мансипация, мансипация, а рожают не мужчины, а женщины. И грудью детишек кормят, и пеленки стирают, и горшки выносят. У меня их трое было. Один младшенький умер, а Игорь вот и сестра его Зина, Слава Богу, живы. Ты прости меня, Юла, но семейная-то жизнь – это не на диване лежать и конфеты мусолить. А тебе и семейное хозяйство вести будет неподручно. Сама тростиночка, пальчики беленькие, личико бледненькое, только глаза у тебя чудесные и есть. Ты уж прости, коли обидела. С мужем жизнь прожить – не поле перейти. А Игорь тоже с характером. И очень он горячий бывает. Ежели обидят. Чисто разбойник. Пара ли он тебе?

– Меня зовут не Юла, а Юлия, и, пожалуйста, не обижайте меня, – сказала тихо Юлия и поднялась с корточек. – Мне жаль, что я вам не по душе. Мне очень жаль...

– И Игорь тебя не знает. Это уж так. Нет, не пара вы, чует мое сердце...

– Мама, ты слишком строго судишь, – снова вмешался Дроздов и сел рядом с матерью, обнял за плечи. – Ну, если нарожаем детей, то как-нибудь справимся. В конце концов ты поможешь.

– На меня не надейся. Я с Зиной живу. Ее детей нянчю.

– Я же тебе сказал, что в тайге всему научился, – повторил он убедительно. – Правда, ни жены, ни детей, ни пеленок там не было.

– Сынок, родной, крепко подумайте! Понимаю: природа свое требует, а вы ее не обманите.

– Кстати, я не хочу иметь детей и не хочу стирать пеленки! Поэтому не гожусь в жены вашему сыну! – вдруг дерзко сказала Юлия, недослушав Анну Петровну, и вскочила, остро застучала каблуками в переднюю, оттуда выглянула, надевая куртку, договорившись с негодованием: – Если вы хотите, чтобы ваш сын женился на какой-нибудь толстенной бабище, которая нарожала бы ему двенадцать детей, то я прошу прощения за то, что не отвечаю вашему идеалу!

Прощай, Игорь, и не звони. Я позвоню сама, когда будет нужно. Если ты позвонишь первым, мы никогда не увидимся!

Она позвонила через неделю, когда уже уехала мать, и в тот вечер, измученный размолвкой, желанием примирения, он услышал ее голос в трубке, веселый, искрящийся, как если бы между ними ничего не произошло:

– Послушай, Игорь, я готова нарожать тебе двенадцать детей. Только возьми меня в жены, я буду хорошая. Я буду послушная.

– Я немедленно беру тебя в жены, – сказал он, стараясь говорить шутливо, чтобы не показать несдержанную радость оттого, что она позвонила наконец. – Приезжай, я жду, или скажи – где мы встретимся.

Она ответила с простодушием незадумывающейся ветреницы:

– Я буду послушной при одном условии. Больше не заставляй меня встречаться с твоей суровой мамой. Ты согласен? Что это за ветхозаветные смотрины? Я старалась изо всех сил, хотела ей понравиться, но не смогла. Что же теперь нам обоим остается?

– Мать уехала вчера, – сказал он. – Я, конечно, люблю ее...

– А меня? – не дала она договорить. – Если ты попросишь прощения, тогда я сейчас приеду к тебе. Если ты любишь только свою мать, то не увидишь меня никогда.

– В чем я виноват? И в чем я должен попросить у тебя прощения?

– Хорошо. Так и быть. Я приеду на пять минут.

Юлия приехала через час, и когда он, нетерпеливо ожидая ее, открыл дверь, она вошла в огромных противосолнечных очках, безмятежно и вскользь подставила ему сомкнутые губы, сразу же села в кресло, сказала чрезмерно веселым голосом:

– Теперь давай думать, в чем ты виноват и можем ли мы быть счастливы в браке. Отвечай, пожалуйста, зачем ты показал меня ей? Хотел ее совета? Значит, не уверен, что любишь меня?

– Юля, ты вверх тормашками ставишь вопрос, – сказал он мирно. – Разве ты не чувствуешь этого сама?

– Чего я не чувствую?

– То, что я люблю тебя.

– Больше или меньше ее? Она захочет командовать мною, приедет к нам жить, воспитывать нас обоих, и все превратится в ад. Господь карает недобрые желания мудрецов. И ты согласен на это?

Не снимая противосолнечных очков, она положила сумочку на колени, достала оттуда сигарету и долго, неумело крутила в пальцах зажигалку, а когда прикурила и колечком, собрав нежные губы, выпустила дым, он заметил с удивленным упреком:

– Я никогда не видел, что ты куришь.

Она сняла очки, взглянула с невинной кротостью.

– А тебе не нравится? Что ж. Перед тем как идти к тебе, я даже выпила чуточку вина, чтобы не так злиться на тебя. Вот видишь...

– Вижу, – попробовал пошутить он. – Равноправие, так равноправие во всем.

– Во всем? Нет! – возразила она по-прежнему безгрешно. – Судя по твоей матери, ты хотел бы полноправного домостроя. Разве не так? Жена да убоится мужа своего. Бия детей в молодости, получишь утеху в старости. Свекор, свекровь, невестка, зять... и как там еще по домашней иерархии? Деверь, шурин, бог его знает... Мне ясно, что ты был воспитан в жутком домострое. Поэтому я хочу спросить: кого же ты больше любишь?

– Юля, не задавай мне вопросы, на которые у тебя самой готовы ответы, – сказал он все так же миролюбиво. – Любовь к матери и любовь к жене – разные вещи. Ты, наверное, не поняла мою мать, а она не поняла тебя.

– Все равно ты ее любишь больше.

– Я ведь тебе сказал: это разные вещи.

Он говорил это и был противен самому себе («не поняла мою мать», «разные вещи», – что же это я, глупец, бормочу нелепость?») – и с отвращением к своему невразумительному объяснению он в то же время всеми усилиями хотел избежать взрывного и опасного состояния, что разъединило бы их, неподчиненных праву друг друга, и думал вместе с тем: «Я вроде бы оправдываюсь в том, что люблю мать, – что за скользкая мерзость происходит со мной?»

– Ты хочешь, чтобы я бесконечно объяснялся тебе в любви?

– Да, хочу, хочу, хочу...

Он смотрел на ее шею, на ее капризные губы, на ее слабые пальцы, неумело держащие сигарету, и, мучаясь своей раздвоенностью, неподвластной подчиненностью ей, готовый простить ей многое, чувствовал, что все, что произошло и происходило сейчас между ними, отдавало привкусом горечи отравленного меда, но было сильнее его.

Глава 8

Это чувство бессилия перед правом ее своевольной слабости было испытано им после женитьбы не однажды, и всякий раз в положении сильного он опять точно бы оправдывался, обезоруженный ее ревностью, ее подозрением, неопровержимым никакими словами. Последняя ссора, безобразная, постыдная, какая-то даже болезненная, запомнилась ему на всю жизнь. Тогда он пришел в двенадцатом часу ночи и в передней, расстегивая пальто, стряхивая снег с шапки (на улице метелило), встревожено увидел ее неузнаваемо бледное лицо с сомкнутым ртом, с неподвижными, стоячими глазами, ставшими черными.

– Ты пришел так поздно? – прошептала она еле внятно. – Где же ты был, верный мой муж?

– Прости. Я не мог тебе дозвониться. Был у Тарутина. Два раза набрал, никто не подошел.

– Ах ты лжец, обманщик! – выговорила она рвущимся голосом и, исказив лицо, так царапнула его ногтями по щеке, что после мороза он почувствовал огненные ожоги. – Я целый вечер жду тебя, а ты где-то развлекаешься, в каком-то доме! С какими-то грязными женщинами! Грязь! Развратник! Ты был у Тарутина? Неужели? И ты еще смеешь врать!

– Я не понимаю тебя, зачем все это ты? – повторял он, потрогав щеку и разглядывая на пальцах кровь. – К кому ты меня ревнуешь? Что с тобой, в конце концов? – выговорил он и, сдерживаясь, сбросил пальто в передней, прошел в ванную, начал смывать кровь с лица.

– Обманщик! Убийца! Лжец! Ты изменяешь мне с порочными женщинами! – зло кричала она из комнаты. – Ты затоптал меня в грязь!

«Уму непостижимо, – подумал он, мельком взглянув в зеркале на поцарапанную ногтями щеку. – Ее ревность похожа на ненависть, на сумасшествие. Она уже не может сдержаться при семилетнем сыне? Он все слышит в другой комнате. Но она не в силах остановиться, как в наваждении...»

И медля, удушаемый тоской, он вытер полотенцем лицо, промокнул ранки ватой, смоченной одеколоном, молча вышел из ванной в комнату. А она кинулась ничком на диван и судорожно зарыдала, уткнувшись в подушку, хрупкие плечи ее тряслись от всхлипываний, как у горько обиженного ребенка.

– Ненавижу, ненавижу! Господи, спаси, спаси же меня!..

– Мама, мамочка! – кошачьим писком послышалось из другой комнаты.

В эту минуту ему надо было, наверное, закричать на нее, встряхнуть, привести в чувство после этой её несправедливой и злой несдержанности, а он стоял, погибая в жалости к ее трясущимся плечам, к испуганному голосу проснувшегося в другой комнате сына и, вконец растерянный, не узнавая себя, выговорил:

– Я не верю.

Она вскинулась на диване, слезы текли по ее щекам.

– Что? Что ты сказал?

– Я не верю, – повторил он и добавил с хрипотцой: – Не верю, что ты меня разлюбила.

– Почему в тебе нет гнева? Почему я не чувствую в тебе ничего прочного ко мне?! – закричала она и вновь упала головой на подушку, рыдая.

– Нет, – сказал он. – Я не верю.

Он сел на диван, взял ее за плечи, и она вся подалась к нему, порывисто прижалась, дрожа в его объятиях, смачивая его шею горячими слезами.

– Да что же это такое? За что ты меня мучаешь?...

– Мама, мамочка! Миленькая, не плачь, не надо!..

Как пытку он помнил этот защищающий вскрик Мити, бегущее топанье босых ног из раскрывшейся двери смежной комнаты, перепуганное личико сына, мотающиеся пшеничные

волосы и его отталкивающий взгляд детской ненависти, когда он с плачем и тою же готовностью защиты бросился к матери, обнял ее, тормоша, целуя ее руку. А Дроздов лишь на секунду поймал выражение глаз сына, переполненных ожиданием беды, – и, облитый жаркой испариной, сию же минуту ободряюще моргнуть ему, хорошо представляя ненужную фальшивость этой бодрости, подумал, как в бредовом сне: «Не выдержу, не выдержу».

Невыносимее всего было то, что вместе со вкусом ее слез он, в тот вечер не пивший ни рюмки, почувствовал запах вина от ее дыхания.

Всю ночь он проворочался на диване с непроходящим ощущением виноватых друг перед другом людей, зажигал свет, тщетно пробовал читать, вставал, открывал форточку в густую синеву ночи, вливавшейся морозной колючестью воздуха, курил, вспоминая ее отчаянные слова: «За что ты меня мучаешь?» – и ее рыдания, горячие детские слезы и поразивший его запах вина. В том, что она была нетрезва не только вчера, и в том, что она делала с собою и с ним, было неразумное, оскорблявшее обоих разрушение, а оно походило на вырывавшуюся боль, которую она не могла скрыть, преодолеть, не веря ему, страдая от невыносимых подозрений. И это была не понятая им, чужая, иная Юлия, отталкивающая его слепой и беспамятной грубостью в порывах ревности и гнева. Всю ночь он искал, строил предполагаемый утренний разговор с ней, уверенный, что все-таки в государстве домашнем настанет мир, необходимый на своей территории, в своем тылу.

Под утро он задремал, изнуренный бессонницей, но сквозь дрему услышал шаги за стеной, звон посуды на кухне и мигом поднялся, зажег свет – за окнами еще стояла темнота, на будильнике было половина седьмого.

«Я должен раз и навсегда поговорить с ней, иначе эта мука не кончится. Должна быть, наконец, ясность между нами».

– Можно к тебе?

Она, не ответив, сидела за кухонным столиком, умытая, тщательно причесанная, в застегнутом халате, задумчиво глядя перед собой, пила кофе, должно быть, с коньяком (рядом стояла маленькая рюмка янтарной прозрачности), дымящаяся сигарета лежала в пепельнице.

Ее лицо, помятое лицо, но умело приведенное в порядок, показалось немолодым, усталым, тени под глазами, неуловимая слабость в губах, в тонкой шее, мнилось, открыли ему в это утро какое-то тайное нездоровье Юлии, и он, сразу прощая ей все, негромко проговорил голосом навсегда забывшего размолвку человека:

– Я хочу сказать, Юля, одно: если ты не будешь верить мне, то наша жизнь превратится в дьявольский кошмар. Зачем это?

Она взглянула на него почти со страхом, но сейчас же лицо приняло выражение напряженного безразличия, это стоило ей, вероятно, усилий. Она осторожно отпила глоток кофе (он услышал в тишине звук ее глотка) и заговорила отчужденно:

– У нас пока все должно быть по-прежнему. Я так же буду изображать твою жену. Только не будет одного... Как бы это сказать? Просто я не буду любить тебя. И это освободит нас от многого. Приходит же всему срок. Ты оскорблен вчерашним?

– Я не хотел бы говорить о вчерашнем. И не хотел бы, чтобы от тебя пахло вином. – Он посмотрел на рюмку. – Это уже стало...

Она перебила его с решительностью женщины, неспособной шутить:

– А я хотела сказать то, что хотела сказать. Поверь, нам обоим будет легче. Все будет проще. Потом... позже мы можем развестись. Сейчас у меня нет сил. Потерпи... Я первая скажу об этом.

– Все это бессмысленно, Юля.

– Что поделаешь! Вся моя жизнь бессмысленна!

Он увидел морщины страдания на ее лице и, вновь погибая от несчастной жалости к ней, поцеловал ее в пахнувшие сладковатым шампунем волосы и вышел.

Через неделю произошел разговор с Нонной Кирилловной. Разговор этот совсем не был «запрограммирован», ибо в эти дни жизнь его с женой текла в положении сознательного перемирия. Он делал вид, что ничего страшного не случилось, он надеялся не на здравый смысл, а на излечивающее время, что должно внести разумное успокоение в этот затянувшийся домашний разлад. Иногда в часы бессонницы, неотступной как наказание, он ворочался в поту и представлял встревоженную его женитьбой мать, какую видел в последний раз, знакомя ее с Юлией, и не мог простить себе, что не застал ее в живых, по срочной телеграмме прилетев в Саратов уже на похороны.

Он боролся с памятью, его томило раздражение против самого себя. Он безысходно сознавал, что все молодое, несбывшееся постепенно утонуло в горько-сладкой отраве так называемого семейного счастья, не отпускаявшего его несколько лет, и теперь осталась одна блаженная боль. По-видимому, он не имел права судить Юлию, если бессилён был что-либо изменить в ней и в самом себе.

Нонна Кирилловна пришла вечером (Юлии и сына не было дома), строгим взором осмотрела всю квартиру, распространяя по комнатам запах стойких духов, колючий шелест платья, сшитого из какой-то звучной материи. Затем по-хозяйски удобно села в кресло под торшером в его кабинете, забарабанила крепкими мужскими пальцами по подлокотнику, царственно выпрямила полную шею.

– Семейная жизнь – сложнейшая школа, где нет учителей, – заговорила она внушительным грудным голосом. – Я вовсе не собираюсь вас учить, Игорь

Мстиславович. И не вижу повода заранее сердиться на меня, коли немножечко коснусь интимных сторон вашей с Юлией жизни. Сядьте, пожалуйста, напротив меня, так лучше будет с вами разговаривать.

– Не вижу повода заранее сердиться на вас, – сказал не без натянутой вежливости Дроздов, садясь в кресло напротив. – Но я и не хотел бы, чтобы вы касались сторон нашей жизни.

Нонна Кирилловна сделала упредительный жест.

– О, нет, я не нарушу никаких пределов деликатности. Моя дочь в порыве ссоры с вами, как она мне призналась, допустила невоспитанность чувства. Она сказала, что ненавидит вас. Экая ангельская откровенность, экая грубость! Это не делает мне чести, я, по всей видимости, плохо ее воспитала. Но ее невожатанность лишней раз говорит, что Юлия – наивный чистый ребенок, поступает необдуманно, импульсивно, а вы, неглупый, опытный человек, поступаете, как бы... как псевдопатриот своей семьи, простите, ради всего святого.

– Я готов слушать вас дальше, – проговорил Дроздов с превышенной заинтересованностью податливого собеседника. – Вы дадите нашим отношениям захватывающие определения. Только какова же цель ваших определений и вашего разговора?

Свет от торшера падал на ее маленькую голову, величественную, воронено-черную, со старомодной ниточкой ровного пробора, на ее лицо, смуглое от наложенного тона, с темными усиками над властным ртом, оно было несколько даже печальным.

Ее полная грудь под тесным платьем дышала ровно, очень заметная гордой выправкой уверенной светской женщины. Немного погодя она сказала снисходительно:

– Вы чудак, честное слово.

– Благодарю вас за своевременную информацию.

– Именно так, мой милый зять. Вы фавн, самец, неврастеник. Как все мужчины. И – дилетант. Всё вместе. Я, конечно, предупреждала об этом Юлию. – Она посмотрела на него с укоризной уставшей от человеческих глупостей провидицы. – Советы детям не дают им права не ошибаться. То есть – не дают абсолюта непогрешимости. Вы меня поняли?

– Ни слова. По-моему, вы погружаете меня в какие-то сложные намеки, где сатана ногу сломит, простите за некоторый кулер локоль.

Она изобразила на лице оскомину скуки.

– Ради всего святого, не надо кулюр локолей, у меня так болит голова. Вы не ревнуете верную жену после многих лет неомраченной подозрением жизни? Вы – гений наивности, мой милый зять. Неужели вы не знаете, от чего зависит хрупкое счастье современной семьи? Мы ищем всегда врага, а враг сидит в нас самих.

– Что за абракадабра, Нонна Кирилловна! Ничего не понимаю.

– Да что уж понимать! – Она выпрямила глубоким вздохом массивную грудь. – Если уж вы изменяете жене, то делайте это так, чтобы никто не знал. Иначе вы становитесь, дорогой зять, наемным убийцей, подкупленным самой наивностью.

– Убийцей? Великолепная формулировка!

– Да, убийцей согласия и любви в своей семье. Если угодно – даже палачом своего счастья. Такие женщины, как Юлия, под ногами, милый зять, не валяются. Так вот что я хочу сказать. Я хотела бы, чтобы некоторое время Юлия пожила у меня, чтобы девочка успокоилась. А потом – видно будет.

Ее низкий голос звучал густо, играл снисходительными оттенками, жилистые пальцы утвердительно постукивали по подлокотнику, а черные с фиолетовым холодком глаза испытующе охватывали Дроздова с головы до ног. Она помолчала и добавила:

– Юлии необходимо успокоить нервы. Это и в ваших интересах.

– Она сама хочет? Или это ваш совет? – спросил Дроздов, оценивая, однако, в нелюбви тещи достаточное умение владеть собой в общении с ним, наивным в семейных недоразумениях зятем.

– Этот совет – мой, – сказала она без промедления. – И повторяю: в ваших интересах.

– В каких именно?

Она засмеялась басовитым смехом, надменно изменившим ее лицо.

– Перебеситесь, дорогой, если не прошел такой черед в вашей жизни. Только не выливайте эту грязь разврата на мою дочь, – проговорила она и встала с неподпускающим достоинством, статно обрисованная платьем, и, стоя в позе совершенно владеющей своими чувствами королевы, прибавила тоном вынужденной неприязни: – А вообще-то, Игорь Мстиславович, лучше бы вам разойтись. Вы слишком полярные люди, милый вы мой перспективный ученый. И вам, и Юлии станет легче. По-моему, вы сейчас поклоняетесь одной идее. Как человек меняет старую одежду на новую, так и человеческая душа, отказавшись от старых привычек, выбирает новые... Это ваша заповедь, вероятно.

– Мне хорошо известно, что исковерканная Библия – неиссякаемый колодец расхожих банальностей! – с веселым бешенством возразил Дроздов. – Тем не менее слушать пошлости я не хочу. И более того – не хочу и не разрешу, чтобы кто-то вмешивался в нашу с Юлией жизнь.

– Я не «кто-то», а мать своей дочери, а дочь моя имеет несчастье быть вашей женой! – выговорила Нонна Кирилловна, оскорбленно отклоняя назад вороненую голову, и мужской голос ее стал металлическим. – Только теперь я представляю, как невыносимо Юлии тяжело с вами! Какой это нонсенс – ваш несчастный брак! И вообще: как вам, мужчине, не совестно! Впрочем, чем вам совеститься? У вас этого аппарата нет!

Дроздов поднялся, невежливо заложил руки в карманы.

– Я прошу вас уйти, Нонна Кирилловна, – проговорил он вполголоса. – Я буду благодарен, если вы уйдете. Не дожидайтесь, когда я наговорю вам грубостей. Все прощаю я только Юлии.

Она вскрикнула шепотом:

– Вы прогоняете мать вашей жены?

– Предполагайте как вам угодно, – сказал Дроздов. – Прощайте. И постарайтесь пока не приходиться к нам. Мне будет вас неловко видеть. Вас проводить?

– И не вздумайте, грубиян! Я знаю, где выход! Да вы мучитель, вы аморальный тип! Теперь я все поняла! Вы просто мучитель моей дочери!..

Он вышел в соседнюю комнату, остановился у окна, глядя на вечерние снежные крыши, на фонари в пролете улицы, на поблескивающие спины редких машин, и одновременно слышал, как торопились прочные шаги в переднюю, мстительно шуршало платье, потом хлопнула дверь – и наплыла из передней облегчающая тишина.

«Познание – крестный путь человека, – думал он со злостью, ходя по комнате и вспоминая ядовитую фразу Нонны Кирилловны: „Какой это нонсенс – ваш несчастный брак!“ – Наш брак? Ах, страсть? Она давно перестала быть основой жизненной силы? Но что же между мной и Юлией? Сумасшествие? Несчастье? Несовременно и современно и то, и другое. Современно третье, четвертое и пятое... „Как вам, мужчине, не совестно?“ Вот оно, архаичное и прекрасное понятие, наконец-то! Да, совестно, за себя, за то, что ради мира с ней готов считать себя виновным во всех грехах. Что это – страсть? Порок? А что есть две половины человечества, неспособные понять друг друга? Нет, все мы наемные убийцы самих себя, глупостью подосланные, подозрением, злобой...»

На следующий день Юлия сказала равнодушно: «Нам нужно друг от друга отдохнуть», – взяла Митю и ушла к матери, оставшись жить у нее на две недели. Но самое запомнившееся было не эта разлука, не одиночество в опустелой квартире, без жены и сына, а их возвращение на три дня, как бы случайное, внешне чересчур оживленное, радостное, с визгом и смехом Мити в передней, заметившего у стены купленные отцом финские лыжи. Когда же она бросилась к нему, подставляя, как в молодости, губы, он снова почувствовал запах духов и вина и со страхом увидел вблизи ее бледное, похуевшее лицо с морщинками под глазами.

Глава 9

– Позвольте, позвольте!..
– Что позволить?
– Есть ли отличие законов природы от законов науки? Ась?
– При чем это твое «ась»? Все похотываешь? Все ерничаешь?
– Разумеется! Время изменило все законы. Снег выпадает и в июне, нравственность лишается искренности, невинность – в пятнадцать лет. Талант стремится к симметрии и губит себя. Наука ползет к ненаучности... и тоже – мордочкой об асфальт.

– Отец честности! Герой добра! Рыцарь совести! О чем ты? Пожалей ты нас хоть капелюшечку!

– Дурак я, что ли? Кого жалеть?

– Гомо героикус! Пожалей маломощных!

– Беззастенчивую посредственность или посредственность до непозволительности?

Короче, если не произойдет бунта в науке, она взорвется сама, как мыльный пузырь, погибнет. И все мы с ней, племя бездарностей!

– Прекратите!..

– Это типичный чиновничий окрик? Ась?

– Я говорю: перестаньте петь лазаря. Критика – роскошь, а мы не так богаты.

– Критика – это первая леди раздражительности – вот кто она! Отнюдь не писаная красавица, а страшилище! Поэтому дешево она стоит на панелях.

– Откуда атака? Достойна ли она ответа? Откуда эти злые накопления? Критика, провокация и клевета – какого колена они родственники?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.